

**НОВЫЙ
Журнал**

172-173

**THE NEW
REVIEW**

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Г. Андреев, Л. Ржевский

1978-1981 редактор Роман Гуль

1981-1983 редакция: Роман Гуль (гл. редактор)

Е. Магеровский

1984-1986 редакция: Роман Гуль (гл. редактор),

Ю. Кашкаров, Е. Магеровский

1986 Редакционная коллегия

сорок седьмой год издания

Редакционная коллегия:

Ю. Д. Кашкаров

В. П. Крейд

М. И. Раев

В. М. Сечкарев

И. В. Чиннов

З. О. Юрьева

Секретарь редакции:

А. Н. Тюрин

Обложка работы Мстислава Добужинского

THE NEW REVIEW
SEPTEMBER-DECEMBER 1988
© 1988 by THE NEW REVIEW

Присланные рукописи не возвращаются.

NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly by New Review Inc., 611 Broadway, #842, New York, N.Y. 10012. Second Class postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 611 Broadway, #842, New York, N.Y. 10012.

Printed in USA by COMPUTOPRINT Corporation

35 Harding Avenue, Clifton, NJ 07011-2209

1 (201) 772-2166

Fax 1 (201) 772-1963

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Добронравов</i> — Из литературного наследия. Публикация <i>З. Трифунович</i> ; Воспоминания о Л.М. Добронравове <i>Т. Алексинской</i>	5
<i>Allegro</i> — В доме плотника Иосифа	24
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	27
<i>Г. Шмаков</i> — Анна Павлова. <i>Киносценарий</i>	31
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	87
<i>Е. Замятин</i> — Из блокнотов 1914-1928 годов. Публикация <i>А. Тюрина</i>	89
<i>О. Капабланка-Кларк</i> — Разбойник Бабаханов	128
<i>Р. Левинзон</i> — Стихи	145
<i>Н. Пастернак</i> — Стихи	147
<i>Е. Федорова</i> — "Обойден и замкнут круг".	148
<i>Д. Савицкий</i> — Стихи	183
<i>А. Шельвах</i> — Стихи	185
<i>Г. Марк</i> — Стихи	186
<i>Л. Владимирова</i> — Стихи	188
<i>И. Муравьева</i> — Стихи	189
<i>Н. Терлецкий</i> — Маттео Моро	190
<i>Д. Дэви</i> — Избранные. Пер. <i>Д. Бобышева</i>	209
<i>Л. Миллер</i> — Большая Полянка	211
<i>К. Ушаков</i> — Серп и молот	234
<i>М. Минский</i> — Короткие рассказы	265
<i>В. Гинзбург</i> — Дневники во время летних отпусков	277
<i>Ю. Щеглов</i> — О художественном языке Чехова	294
<i>В. Дмитриев</i> — Вячеслав Иванов и Платон	323
<i>В. Крейд</i> — Неизвестная заметка Георгия Иванова	331
<i>А. Якобсон</i> — О поэзии гармонической и трагической. Публикация <i>М. Улановской</i>	340

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

- А. Иванов* — У могилы Ф.М. Достоевского357
С. Голлербах — Фокус365
С. Аллилуева — Два последних разговора371

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

- Н. Резникова* — В русском Харбине385
Письма *М. Шагинян* к *З. Гунпиус*. Публикация *А. Тюрина* 395
Письма *А.А. Кизеветтера* *Н. Астрову*, *В. Вернадскому*,
М. Вишняку. Публикация *М. Раева*462
Письма *П.Н. Милюкова* *М.А. Осоргину* 1940-1942 годов.
Публикация *Т.А. Осоргиной-Бакуниной*. Вступительная
статья *С. Брейар*.527

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

- А. Тахо-Годи* — *А.Ф. Лосев*553

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

- Два неизвестных письма *Г. Адамовича*. Публикация *Ж. Шерона*;
Н. Первушин — Немного об Иване Лукаше; *Вл. Купченко* — *М.*
Волошин и *М. Нестеров*; *В. Перелешин* — Русские дальневос-
точные поэты — друг другу568

БИБЛИОГРАФИЯ

- Е. Андреева* — Ф. Черон. "Немецкий плен и советское освобождение"; *И. Лугин*. "Полглотка свобод *М. П. Палий*. "В немецком плену"; *Н. Ващенко*. "Из жизни военнопленного"; *М. Раев* — *V. Vodoff*. "Naissance de la chrétienté russe"; *Раев* — "The Muscovite Law Code of 1649"; "The Travel Diary of Peter Tolstoi"; *Ivan Pososhkov*. "The Book of Poverty and Wealth"; *Б. Сапур* — "Русская эмиграция. Журналы и сборники на русском языке 1920-1980 гг."; *В. Адамантова* — *C. Marsh*. "М.А. Voloshin Artist-Poet"; *В. Дмитриев* — *В. Крейд*. "Зеленое окно"; *С. Голлербах* — "П.Н. Филонов. Каталог выставки".581

ГЕННАДИЙ ШМАКОВ

АННА ПАВЛОВА

КИНОСЦЕНАРИЙ

В истории балета Анна Павлова осталась символом одухотворенности классического танца. Павлова — гениальная балерина — в полный рост смотрит со страниц многих книг; о ее даровании можно судить по кадрам пожелтевших и несовершенных кинолент. Они по-своему дополняют портрет балерины, созданный воображением и памятью ее современников — Левинсона, Дандре, Светлова, Оливерова и др. Гораздо более загадочной предстает Павлова-человек. Мемуаристы по многим причинам не могли или не хотели (книги писались по свежим следам, после ее внезапной смерти в Гааге) объяснять ее сложный характер, который мог бы пролить свет на загадку ее творчества и личности, на павловский воинствующий традиционализм, пуританское неприятие нового (в частности, реформ Дягилева), на довольство тем небольшим классическим багажом, который она вывезла из России и который на Западе она существенно не разнообразила. Впрочем, у такой законсервированности таланта Павловой есть свое объяснение: расцвет балерины совпал с закатом карьеры Мариуса Петипа и Иванова и тем развалом их наследия, которое произошло с приходом к власти Николая Легата в десятые годы. Впрочем, в ограниченности наследия и консерватизме ее творчества было у Павловой и преимущество: не создав на Западе ничего принципиально нового, она силой своей незаурядной личности создала балету аудиторию там, где понятия не имели о классическом танце. Образ миссионерши-Павловой был настолько притягателен, что он вытеснил из поля зрения писавших о ней Павлову-человека.

Оригинал фотографии Анны Павловой на стр. 33 хранится в собрании проф. З. Юрьевой, Нью-Йорк.

Памятуют парадокс Бернарда Шоу: "Плюньте в глаза тому, кто скажет, что гений бывает счастливым", я еще в России начал свои поиски подлинной Павловой, той, что скрывалась под общеизвестным иконописным ликом. Эти поиски приводили меня в дома людей, хорошо знавших Павлову по Петербургу, Парижу, Лондону, сотрудничавших прямо или косвенно с ней, бывавших у нее в Азви Хаузе, наблюдавших ее в разные периоды жизни. Список этих людей длинен — это Анна Ахматова, Корней Чуковский, Елизавета Тиме, Федор Лопухов, Иван Лихачев, Анна Соляникова, родственники Ширяева, Пильц, Михаил Шварц и многие другие. Эти поиски неожиданным образом закончились в Нью-Йорке, когда я, давно утратив исследовательский пыл, неожиданно опять нашел людей, знавших Павлову или много слышавших о ней: это вдова Михаила Мордкина, и Татьяна Яковлева-Либерман, рассказавшие мне много интересного о Павловой, что удивительным образом не только дополняло мои прежние сведения, но уточняло психологическую картину и сообщало ей большую достоверность. В какой-то момент из-за иконописного лика жрицы танца внезапно выступило живое лицо женщины, бесконечно несчастной в личной жизни, терзаемой неуверенностью, крепнувшей с годами, женщины, для которой танец был единственной эмоциональной отдушиной в жизни.

Павлова исполняет танец Умиряющего Лебедя. Она в бакстовском костюме — длинная пышная туника, белый венец из перьев вокруг головы, большие перекрещенные перья вокруг корсажа, среди которых сгустком запекшейся крови пылает большой рубин. Плещутся руки-крылья, залитые светом двух скрещенных прожекторов.

Гигантская арена Булл Ринга в Мехико-Сити. Восторженные, замороженные, сосредоточенные грубоватые лица мексиканцев. Мужчины в черных и песочного цвета сомбреро, напоминающих громадные подсолнечники.

Лицо Павловой просветлено, но время от времени по нему пробегает гримаса боли — не театральной, а неподдельной, которая становится все более очевидной по мере того, как номер приближается к концу. Внезапно, словно сломленная последней смертной судорогой, Павлова застывает на сцене. Последний взмах руки-крыла. Ее лицо в поту, в глазах отчаянье. При медленно гаснущем свете она успевает только крикнуть по



направлению к выходу с арены, занавешенному тяжелым занавесом:

— Помогите!

Из-за занавеса стремительно бросаются двое к ней на помощь: высокий, кряжистый, весьма пожилой господин в смокинге с белой гарденией в петлице — Виктор Дандре, муж балерины, импрессарио павловской труппы, и молодой человек в одежде рабочего сцены.

— Колено... — успеваает прошептать Павлова. Взяв балерину на руки, они скрываются за занавесом. Зал содрогается от громовых рукоплесканий, мексиканцы вскакивают с мест, на арену под крики "браво", "оле" летят сомбреро, покрывая желто-черным ковром подмостки.

Уборная Павловой. На стенах — полусодранные и местами висящие клочьями афиши с фигурами атлетов, разрывающих цепи, и боксеров, застывших в яростной схватке. Павлова, полулежа в кресле, плачет от боли. Горничная Маргерит Летьен прикладывает к ее колену лед. Дандре подносит флакон с нашатырным спиртом. Павлова отшатывается и, раскрыв свои большие, запавшие черные глаза, с почти нескрываемой ненавистью смотрит на Дандре. В дверь просовывается голова насмерть перепуганного мексиканского менеджера, с арены доносится гул восхищенной публики. Дандре машет мексиканцу и бормочет по-французски:

-- Fermez la porte. Attendez une seconde.

Павлова тянется к столику за носовым платком. На столике большое зеркало, вокруг которого разложена бижутерия, гримировальный прибор, несколько фотографий в тяжелых серебряных рамках, иконки архангела Михаила и Георгия Победоносца, с которыми она никогда не расстанется.

Сгорающий от нетерпения и почти в панике, менеджер снова вламывается в уборную. Дандре раздраженно ему кричит по-французски:

— Скажите барышням, чтобы выходили в "Вальс-каприз"!

Дандре склоняется над Павловой:

— Даст Бог, это несерьезно, Анна. Но, право, ваше бездействие преступно. Я сегодня же поеду с вами к доктору.

Павлова, силясь вытянуть ногу, говорит, поначалу обуздывая

свое раздражение:

— Только не делайте, пожалуйста, вид, Виктор, что вы так озабочены моим здоровьем. Скажите, что просто боитесь, как бы в Акапулько я не вышла из игры и не пришлось отменять представление, не пришлось терпеть убытки.

Дандре сконфужен. Вытирает вспотевшую лысину носовым платком, растерянно бормочет:

— Какие убытки, Анна? Вы несправедливы.

Павлова, скривив тонкие губы, цедит, преодолевая боль:

— Не ждите от меня справедливости. Я не Господь Бог. Вы прекрасно знаете, что последние десять лет у меня не было и минуты, чтобы заняться собой. Даже у лошадей бывает роздых. А я — человек, слышите, живой человек.

Дандре — от волнения у него трясутся губы, он то и дело вытирает лысину — в полном смятении. Подобного припадка ярости у Павловой давно не было.

— Я не устраивал этой гонки и постоянно твердил...

— Твердили? Что, спрашивается? Счета, жалованье девочкам, платить тут, платить там, вечная денежная лихорадка...

— Анна, пощадите хотя бы при посторонних...

— А почему я должна щадить вас, если у вас ко мне нету жалости, да и никаких вообще чувств. Кто я вам? Жена, чтобы легализовать ваше положение при мне.

— Анна, побойтесь Бога.

— Или, может быть, дочь? Но из дочери не делают машину для добывания денег. Вы набираете контракты, даже не спрашивая, есть ли у меня силы их осуществить. А их нет, понимаете, нет.

Маргерит взглядом дает понять Дандре, что ему лучше уйти. Тот кивает и бесшумно скрывается за дверями. Маргерит подает Павловой стакан воды. Та судорожно делает несколько глотков.

— Оставьте меня. — Маргерит покорно кивает головой и выходит из уборной.

Павлова понемногу успокаивается. Из темных рамок смотрят на нее фотографии: скуластое немолодое лицо матери с глубоко посаженными слегка семитскими глазами (дает о себе знать еврейская кровь), большим мясистым носом и тяжелой

челюстью; лицо бабушки — грубоватые, крестьянские, очень русские черты: большие глаза смотрят серьезно, с какой-то странной грустью, почти безнадежностью, крупные губы чуть раздвинуты в улыбке.

Павлова переводит взгляд на зеркало. Его гладь зыблется, понемногу превращаясь в залитую солнцем лесную поляну. Это — Лигово конца девяностых годов прошлого века, дачная местность под Петербургом. Девочка лет восьми Нюра Павлова — худенькая, большеглазая, с торчащими ключицами и острыми локтями и коленками, в ситцевом синем сарафане — восхищенно следит за резвящейся в высокой траве стрекозой. Играя своими глянцевитыми, словно марлевыми крыльями, стрекоза то парит в воздухе, то упархивает в траву, замирая в летнем сухом мареве.

Руки Нюры подражают трепету стрекозиных крыльев: корпус подается вперед, она кружится, с детским увлечением отдаваясь танцу. Из зарослей вихрастый деревенский мальчишка со злорадной сосредоточенностью следит за ней. Внезапно он вылетает из кустов, ловит стрекозу, обрывает ей крылья и с хохотом убегает. Нюра замирает на месте и, закрыв лицо ладошками, беззвучно плачет. Вздрагивают узенькие плечи и длинная тонкая шея. Подошедшая бабушка обнимает Нюру:

— Будет, не плачь!

— За что он убил стрекозу, бабушка? — сквозь слезы спрашивает Нюра.

— За веселость нрава, внученька, за резвость. Господь ее этим наградил, за то и к себе призвал. Ничего просто так не дается, — говорит бабушка, усаживая Нюру на колени.

— Я хочу танцевать, как она, — говорит Нюра и опять принимается плакать.

— Будешь. Не приведи только Господь талантом тебя награждать. Через него все муки. За все Господь спросит, за все надо платить.

— Почему, бабушка?

— Так уж устроена жизнь.

Павлова сидит перед зеркалом и аккуратно снимает грим. Увядшее лицо с темными кругами под глазами, отчего глаза кажутся еще огромное.

— Какая я страшная... — устало протягивает она, роняя руки на гримировальный столик. Взгляд ее падает на карточку молодого Виктора Дандре. Ему лет тридцать пять, он в мундире. Белый крахмальный воротничок подпирает тугие свежeweыбранные щеки. Лицо скорее немецкое, чем русское. Стрижка бобриком, подчеркивающая торчащие большие уши. Серые, слегка водянистые глаза смотрят ясно и прямо. Весь его облик ясно говорит о том, что этот человек знает, зачем живет и что делает.

Еще одно зеркало в овальной старинной раме на мраморном подзеркальнике. Павлова в простом платье из серебристого перекала с открытым воротом и небольшим декольте, с ниткой дешевого жемчуга на тонкой шее. Она в своей спальне на Коломенской улице. Литография Тальони в "Сильфиде" и икона Смоленской Богоматери над бидермайерской кроватью с металлическими шарами. Из-за стены доносятся приглушенные мужские голоса.

— Я же вам говорю, господа, она — чистые сороковые годы, Тальони, Гризи.

— Вы правы, совершенно как старинная гравюра: лукавая головка, стебельчатый корпус.

На лице у Павловой недовольная гримаса, по всему видно, что эти разговоры ей изрядно надоели.

В дверь заглядывает мать, Любовь Федоровна.

— Нюра, поспеши. Господа уже третью чашку чаю откушали.

Гостиная обставлена с тем же безразличием к уюту, что и спальня. Круглый стол под висячей лампой с амурами на лакированных темно-вишневых боках; тяжелые медные цепи, держащие лампу, до блеска начищены. На крахмальной белой скатерти фарфоровый чайный сервиз, вокруг стола трое господ сидят на венских стульях. Один — присяжный поверенный лет сорока пяти, с тщательно расчесанными баками и усами, приятной наружности; другой — молодой человек лет двадцати пяти в визитке, щеголеватый, с несколько "восторженными", как в ту

пору говорили, манерами, с хорошим русским лицом, с белокурой бородой и прямыми, почти соломенными волосами; третий — Виктор Дандре в полосатом шерстяном костюме по моде, подтянутый, скромный.

При появлении Павловой двое господ-поклонников бросаются к ней. Последним подходит Дандре.

— Наконец-то осчастливили, Анна Павловна! — восклицает первый господин. — Тут мы уже все косточки вам перемыли, пытаюсь разгадать чудо вашего гения.

— И что же, разгадали? — спрашивает чуть насмешливо, но это, скорее, от застенчивости, Павлова.

— Где уж! — вздыхает второй господин. — Это все равно, что разгадать загадку жизни. Вчера вы нас, сударыня, просто ошеломили, после вашей крестьяночки такую страсть преподнесли, такой огонь в "Баядерке".

Пока он говорит, Павлова обменивается с Дандре чуть заметной улыбкой и доверительным взглядом; подобные излияния поклонников она слышит не впервые и совершенно к ним равнодушна. Оба господина начинают говорить что-то наперебой, а Павлова, прихлебывая чай, рассеянно смотрит в окно.

Идет крупный петербургский снег, лилоеющий полумрак понемногу окутывает город. Возникает скрипичное соло вариации Никии из второго акта "Баядерки". Выбежав на площадь, Никия замирает под взглядом воина Солора. Заломив руки над головой, Никия-Павлова покачивается то вправо, то влево, закрывает глаза и, сделав глубокий вздох, вот уже взметнулась на пальцы и чертит линию арабесок. Ее фигура полна восточной истомы.

Солор не выдерживает и отворачивается, терзаемый угрызениями совести (ведь он предал любовь Никии, смирившись перед диктатом магараджи, отдающего ему в жены свою дочь). Словно какая-то сила подбрасывает баядерку в воздух — ее жете-антреласе напряженно прорезает воздух. Упав наземь на колено, она резко изгибается в пор-де-бра, снова взлетает в жете, чтобы потом замереть в арабеске.

Рабыня царевны Гамзати протягивает баядерке корзину цветов, и та, словно предчувствуя гибель, кружится с нею в каскаде туров. Вот она вскинула корзину над головой, сорвала

цветок-другой, уже готова бросить цветок Солору, как вдруг зашаталась, тонкими пальцами отрывая змейку, впившуюся в плечо.

Из задумчивости Павлову выводит мать.

— Нюра, да улыбнись ты, — шепчет она дочери. — Что такой букой сидишь!

— Вы были, как вакханка, сраженная страстью, — говорит Павловой один из сидящих за столом господ.

— Благодарю вас. А вы тоже так думаете, Виктор Эмильевич? — обращается Павлова к Дандре.

— Я инженер и новичок в балете, — отвечает Дандре, — так что не с руки мне умно и пространно рассуждать. Скажу только, что вчера в "Баядерке" меня поразила одна деталь: с каким спокойствием ваша Никия умирала, словно благословляя смерть.

— Вы это заметили? — Павлова восхищенно смотрит на Дандре. — Как странно, именно об этом я думала перед спектаклем. Смерть, в сущности, — благо, избавление от наших мук, дверь в какой-то иной мир.

— Господа, ну что за мрачные разговоры! — говорит присяжный поверенный, резко вставая со стула. — Смерть, переход в лучший мир. Мы пока еще на земле, и в этом мире, право, не так уж скучно. Давайте-ка закатимся к "Альберту", там они получили новую партию такого клико, что язык проглотишь.

— Простите, господа, но сегодняшней вечер я обещала господину Дандре, — спешит ответить Павлова.

Визитеры, плохо скрывая свое неудовольствие, откланиваются.

— Вы замечательно их спровадили, Анна Павловна, — замечает Дандре. — Позвольте и мне откланяться.

— У меня и вправду на вас виды на сегодняшний вечер, если, разумеется, вы свободны. Сегодня Исидора Дункан танцует в Дворянском собрании, у меня два билета. Хотите?

— Вы еще спрашиваете! — Дандре целует руку Павловой, смотря на нее благодарными, слегка увлажненными глазами.

Сани, запряженные парой орловских крепких лошадок, мчатся по Невскому проспекту. Павлова в шерстяном зимнем

пальто, подбитом соболем и с собольим воротником сидит рядом с Дандре. Летит крупный петербургский снег, совсем как на картинах Лансере или Бенуа, лиловые сумерки уже окутали город, и на этом сумеречном фоне ослепительно горят изумрудные и желтые рекламы модных лавок — Английского магазина, Жоржа Блока; в гигантском окне магазина Елисеевых, занимающем весь парадный фронтон дома, уже красуется огромная, сверкающая огнями Рождественская елка с Дедом Морозом, у ног которого навалены груды шоколада, корзины с яблоками и апельсинами.

Павлова: Всякий раз, когда я вижу на Невском эту гармонию перспективы, особую чистоту линии, я ловлю себя на одной и той же мысли: только в Петербурге мог заново родиться классический балет.

Дандре: А, по-моему, нет другого более мертвящего города, чем Петербург. Скука, холод, гранит. И когда-нибудь за эту ледяную красоту город постигнет возмездие, вырвутся страшные силы из этих камней, и разыграется такой кровавый спектакль, что не дай Бог нам с вами быть его зрителями.

Павлова: Опять вы принялись за ваши мрачные пророчества. Право, Виктор Эмильевич, откуда у вас такие мысли?

Дандре: Я просто это чувствую. И могу лишь робко надеяться, что вам не придется платить вместе со всеми за грехи этого города.

Павлова: Нет, чтобы не случилось, я принадлежу Петербургу и моему Мариинскому. Я не мыслю себя без них.

Сани круто поворачивают с Невского на Михайловскую улицу с ее ровной шеренгой словно подстриженных зданий и останавливаются у высокого мраморного крыльца на Михайловской площади. В распахнутые, клубящиеся паром двери вливается поток элегантно одетой публики. Дандре, отстегнув полость, подает Павловой руку.

Павлову окликает господин в пальто по моде с бобровым воротником: он среднего роста, с живыми карими глазами и тонкими, коротко подстриженными усиками:

— Аннушка, и ты пожаловала. Как мило!

Павлова: Вы, господа, кажется, незнакомы. Виктор Дандре — Михаил Фокин.

Фокин (говорит скороговоркой, словно одержим какой-то спешкой или нервозностью): Ага, наконец сподобился увидеть вернейшего обожателя нашей Аннушки. Много слышал хорошего. Где вы сидите? Я, признаться, достал только на хоры... Господи, какой ажиотаж! Сдается, весь Петербург съехался поглядеть на эту новоявленную античную плясунью. До скорого, встретимся в антракте.

Фокин исчезает в толпе.

— Какой он славный! — замечает Дандре.

— Хороший, — откликается Павлова, — но, Боже, такой беспокойный! Ниспровергает Петипа, всех ругает. Нигилист, одним словом.

В фойэ и в зале многие кланяются Павловой; по тому, как она отвечает на поклоны, видно, что с большинством из этих людей она не знакома и что она стыдится своей известности.

Гигантская люстра, повисшая над залом, как хрустальный паук; россыпь огней в бриллиантовых колье дам. Отовсюду доносятся обрывки разговоров.

— Чудачка она, ваша Дункан. В Афинах разгуливала по мостовой босиком и даже в трамвай садилась в своем античном пеплосе.

— Говорят, в Берлине, господа, она танцевала почти что нагишом, без корсета, без лифа, без трико.

— Вот вам ваша хваленая античность — порнография одна.

На эстраде появляется пианист во фраке и белом галстуке, с усами и подстриженной бородкой; он направляется к роялю, стоящему сбоку, у самых колонн.

Музыкальные волны шопеновской мазурки затопляют зал. Павлова подается вперед; приоткрыв рот, она прерывисто дышит, стиснув руки так, что ногти почти впиваются в ладони. Глаза ее широко раскрыты. Она шепчет Дандре:

— Посмотрите, какая в ней смелость, я бы так не смогла, а ведь мы почти ровесницы.

Лице Павловой то вдруг освещается улыбкой, то слегка искажается в гримасе испуга. Павлова вся отдается танцу Дункан и в своем воображении видит себя в ее хитоне, взбивающемся пеной вокруг ног. Вот она летит, простирая руки, запрокинув

голову, вскидывая колени под прямым углом к корпусу. Потом вдруг кружится на месте, резко нагнулась вперед, обхватив руками голову, как у фигур на фризах античных гробниц; затем падает навзничь, приныкая к полу, словно ища утешения у Матери-Земли. Это видение Павловой-Дункан скоро исчезает, уступая место другому — Павловой в романтической тунике с крыльями сильфиды в мазурке из Фокинской "Шопенианы", пружинисто и уверенно рассекающей воздух в диагональных жете.

Павлова и Дандре выходят из Дворянского собрания. Дама в соболях и крупных бриллиантах шумно выражает свои восторг:

— Как она разделалась с балетным академизмом! Поверьте, это искусство будущего, господа.

Господин в котелке и гофмановской черной крылатке (наверняка из дягилевского кружка мирискусников) крикливо постулирует:

— Дункан славит свободу тела, его естественность. Искусство — это, прежде всего, телесная нагота.

Молодые люди, обступившие его и жадно ловящие каждое слово, аплодируют. Старик в русской косоворотке, с большой окладистой бородой à la Стасов, говорит:

— Вздор это! Искусство меблированных комнат. Такое искусство бездуховно и русской душе противно.

Дандре: Когда сходятся русские, сразу начинается разговор с душе. Забавно, ей Богу!

Павлова: А отними ее у человека, что останется? Но у Дункан есть душа. И такая смятенная, словно не сужден ей покой никогда.

К ним присоединяется Фокин, наконец вырвавшийся из толпы:

— Уф, совсем заспорился. Простите, что заставил ждать. Эта плясунья так всех раззадорила. У меня, кажется, даже жар сделался. Пройдемся немножко, чтобы малость поостыть, благо потеплело.

Идет пушистый снег, и под его пологом чопорные здания на Итальянской улице, ведущей к Фонтанке, кажутся декорациями еще неведомого миру балета. Павлова идет под руку с Дандре, храня невозмутимый, почти отрешенный вид. Фокин по-прежнему

в страшной ажитации, он отчаянно жестикулирует, почти приплясывая на ходу.

— Нет, что там ни говори просвещенная публика, а молодец Дункан! — выпаливает Фокин скороговоркой. — Как она их взяла — одной пластикой тела, никаких ухищрений. Тело и музыка, безо всех этих навязших в зубах антраша и пируэтов. Чистая абстракция. Надо одеть девочек в хитоны и пускай танцуют, как ожившие статуи в Эрмитаже. То-то было бы забавно... Попробуем, Аннушка?

— Не знаю, Мишенька, — неуверенно говорит Павлова. — По мне антраша и пируэты не так уж плохи. Все дело в том, с каким чувством они танцуются.

— Но классический танец Петипа — это же корсет. Неужели тебе в нем не душно, не скованно? В танце должны говорить руки, плечи, спина — свободные, не связанные этими формальными финтифлюшками. Ух, такое можно с этим сделать, голова пойдет кругом. У меня уже идет. Я, пожалуй, побегу. Прощайте!

Фокин бросается к извозчику, крича Павловой на бегу:

— Мы с тобой, Аннушка, еще поэкспериментируем, ты от меня так не отделаешься!

Павлова с улыбкой смотрит ему вслед.

Павлова: Вот безумец...

Дандре (спокойно): Безумцы всегда правы. И Фокин прав в одном: мне тоже кажется, что вам нужно пробовать себя в новых формах. Не вечно же пробавляться нафталином.

Павлова: А если он хорош? От добра добра не ищут. Признаться, мне этот нафталин еще не успел наскучить. И не думаю, что я могла бы вот так выйти на сцену, как Дункан. Смелости не хватит.

Дандре: А она города берет, Анна Павловна. Я готов помочь вам всем, чем могу. Можете распоряжаться моей жизнью как угодно. Поверьте, вам с вашим талантом Петербург мал! Вам нужен весь мир, как этой одержимой плясунье, как когда-то — Тальони. И я верю, что со временем он будет лежать у ваших ног, как послушный пес. Вы просто не смеете зарывать свой талант.

Они подходят к подъезду павловского дома. Дандре, чувствуя, как внимательно она его слушает, продолжает с еще

большей убедительностью в голосе:

— Я готов положить свою жизнь на то, чтобы воочию увидеть ваш всемирный триумф. Я люблю вас и готов был бы предложить вам руку и сердце, если бы во мне жила хоть малейшая надежда, что вы их не отвергнете.

Павлова порывисто освобождает свой локоть от держащей его руки Дандре и спешит к дверям. Прежде, чем взяться за ручку двери, она оборачивается и внешне спокойно (но видно, что это внешнее спокойствие стоит ей огромных внутренних усилий) говорит:

— Прошу вас, Виктор Эмильевич, никогда об этом больше... Может, вам это покажется провинциальным, но для меня классический балет — это повседневное и безраздельное служение, даже если для кой-кого он отдает нафталином. И если я способна на любовь, то только на любовь к танцу. И ничто другое — ни семья, ни сердечная привязанность — с ним не совместимы. Нужно выбрать или одно, или другое. И я выбрала.

Снова возникает измученное лицо Павловой в зеркале ее мексиканской уборной. Стремительно проносятся картины-эпизоды прошлых лет.

Репетиционный зал. Павлова в черном трико и юбочке имитирует, вслед за Фокиным, движения лебединых крыльев. Старичок-тапер с чувством играет на слегка расстроенном пианино начальные такты "Умирающего". И вот уже Павлова в бакстовском костюме плывет на па-де-бурре, чтобы потом выйти на поклон перед занавесом... в Петербурге... в Берлине... в Стокгольме.

Стокгольм, 1909 г. Павлова выходит из оперного театра; восторженная толпа выпрягает лошадей и сама везет ее к отелю.

Лондон, 1910 г. Дандре, сидящий с ней рядом в автомобиле, со смехом показывает на проезжающий лондонский автобус с аляповато сделанным громадным плакатом: Анна Павлова в арабеске. Из-за громадных размеров афиши формы кажутся необычайно роскошными; ее фигура выглядит карикатурой. Лицо Павловой содрогается от отвращения и досады, она разражается слезами.

Берлин, 1913 г. Павлова, танцую фокинский "Прелюд" из "Шопенианы", замирает в своем легендарном арабеске и исчезает за кулисами. В зале стоит гробовая тишина — никто не аплодирует. Павлова кусает губы от досады. Она смотрит через щелочку занавеса в зал: там зрители, как по сигналу, повернули головы в сторону ложи, где сидит кайзер Вильгельм, в присутствии которого аплодисменты запрещены. Ко всеобщему удивлению, сам кайзер встает и начинает рукоплескать. И вот уже весь театр содрогается от аплодисментов.

Павлова, поддерживаемая Дандре и чуть прихрамывающая, выходит из театрального подъезда и попадает в гущу гудящей толпы поклонников. Ей под ноги летят букеты цветов, раздаются крики: "Браво!", "Гений!", "Вы — сам танец!". Павлова рассеянно раздает улыбки и автографы.

Из толпы вырывается толстая дама с некрасивой девочкой лет восьми. Дама в дорогом туалете, с крупными бриллиантами в ушах, с нее градом льет пот. Отпихнув Дандре, дама, задыхаясь, говорит Павловой по-французски:

— Вы — жрица танца! Эмилия, сделай книксен мадам.

Девочка, моргая рыжими ресницами, неуклюже приседает.

— Моя дочь мечтает о балете, мечтает танцевать, как вы. Осените ее крестным знаменем на счастье, это принесет ей удачу.

Павлова улыбается, крестит девочку и протягивает ей гвоздику. Уже сидя в машине, она говорит:

— Маленькая глупышка! Свою дочь я никогда бы не отдала в балет. Тяжкое и неблагодарное занятие. Впрочем, не знаю, может, и отдала бы. Хорошо, что у меня нет детей...

Дандре молча отводит глаза в сторону, с притворным вниманием рассматривая горящие огнями улицы Мехико-Сити и пеструю толчею на тротуарах. И вдруг вспоминает:

— Да, Анна, у меня для вас свежий номер "Дейли Телеграф".

Достаёт из портфеля газету и протягивает Павловой. Та молча берет. На первой странице крупно набранный заголовок гласит: "Смерть Сержа Дягилева в Венеции", а под ним фотография — траурные гондолы плывут к кладбищу Сан-Микеле. И еще одна, последняя фотография Дягилева с Нижинским, Кар-

савиной и Лифарем. Павлова рассеянно пробегает глазами текст:

— Боялся воды и умер на воде. Бедный Сергей Павлович!
Бедный Ваца!

Дандре замечает:

— Как видите, пророчества великого реформатора не сбылись. Помните, что...

Павлова обрывает его на полуслове:

— Я все помню, Виктор.

Возникает мелодия из первого акта "Жизели" — сцена сумасшествия. На лице Павловой-Жизели отрешенное, отсутствующее выражение. Она гадает на ромашке, словно уже зная, что выпадет нечетный лепесток "не любит". Поспешно отбрасывает смятый цветок и, опершись на руку незримо возлюбленного, в забытии танцует на подкошенных ногах, стараясь в купе и глиссадах повторить ритм недавнего любовного танца с Альбертом. Но ритм от нее ускользает. Жизель охватывает отчаянье от того, что вернуться к прошлому невозможно, что все навсегда потеряно, и, одержимая этим отчаяньем, она мчится по кругу мимо оцепеневших от ужаса поселян...

Во время антракта Павлова пьет чай в своей уборной в театре Шатлэ. В дверях появляется Дягилев во фраке с белой орхидеей в петлице. Сияя, он склоняется к руке Павловой и целует ее.

Дягилев: Bravo, Анна Павловна! Вы с Нижинским превзошли самих себя. Вы слышали, что делалось в зале?

Павлова (сдержанно): Благодарю вас, Сергей Павлович.

Дягилев: Жаль, что господа из Петербурга не видели вас с Нижинским сегодня вечером. Такая пара им и не снилась! Надеюсь, завтра мы продлим контракт, и тогда покажем господину Теляковскому, где настоящий русский балет — у него или у Дягилева. Вы с Нижинским еще не раз удивите Париж.

Лицо Павловой вдруг темнеет от гнева:

— Нижинский, Нижинский, Нижинский! — Она встает с кресла, наступая на Дягилева:

— Меня зовут Анна Павлова — не Карсавина, не Нижинский, а Павлова! И я сама по себе. Павлова не нуждается в вашем балетном вундеркинде, которого вы рекламируете во всех па-

рижских салонах, как самое уникальное изделие ваших чудодейственных рук. И если вы думаете, Сергей Павлович, что проделаете этот трюк и со мной, то глубоко ошибаетесь. Я не намерена быть вашей игрушкой или танцующей фигуранткой ваших декоративных панно. Я — балерина, я знаю, что я умею и верю в то, что делаю. Моему танцу не нужны ваши декорации и цирковые световые эффекты...

Последняя фраза Павловой тонет в истерических рыданиях. Она падает в кресло и закрывает лицо руками.

Теперь наступает Дягилев:

— Прекрасно, сударыня! Только я хотел бы знать, что и с кем вы вознамерились танцевать? Музейную рухлядь старика Петипа, которая хороша разве только для петербургских прачек? Сражение выигрывает тот, у кого сильнее армия и дальновидней стратегия. Посмотрим, кто кого одолеет и переживет!

Павлова (сдерживая слезы): Вы властны над вашими балетными подданными, но не в вашей власти одно — время. За ним последнее слово, не за мной.

Кабинет доктора Фельда в Мехико-Сити. Павлова полулежит во врачебном кресле. Доктор Фельд, худощавый немец в белом халате, с остроконечной бородкой, осматривает ее колено. Дандре сидит на стуле поодаль. Он не на шутку взволнован и, как всегда в таких случаях, вытирает вспотевшую лысину и шею носовым платком. Павлова безучастно смотрит в потолок. Ассистентка приносит рентгеновские снимки и протягивает доктору Фельду.

Доктор Фельд: Ну-с, поглядим... Опасаться особенно не приходится. Связки напряжены до крайности и потому неправильно сокращаются, вызывая сильную боль. Будем продолжать уколы иодина, как советовал вам прежде доктор Залевский, но, главное, — отдых, продолжительный отдых. Грязи, массажи, ледяные компрессы.

Павлова (почти с раздражением): Ну о каком продолжительном отдыхе может идти речь, если у меня впереди минимум пятьдесят спектаклей. Виктор, ваше мнение на этот счет?

Дандре (сконфуженно): Но, Анна, здоровье прежде всего... Сколько раз я говорил вам, что вы преступно небрежно отно-

ситесь к вашему здоровью. Возможно, мы сократим число спектаклей или сделаем так, что вы будете танцевать от силы один балет.

Павлова (зло): Терпеть не могу, когда вы начинаете вилять. И вы прекрасно знаете, что репертуар изменить невозможно, если только вы сами не встанете на пуанты или не замените меня кем-нибудь из ваших протеже.

Доктору Фельду явно не по себе от этой язвительной пикировки, и он пытается разрядить напряжение, повисшее в воздухе. Он суетливо бросается к столу, приглашая подсесть Дандре.

Доктор Фельд: Сейчас сообразим рецептики. Мадам может не волноваться, все обойдется, не в первый раз. Помните, как тогда, в Лондоне... Господин Дандре, я хочу вам кое-что объяснить. Вот этот рецепт...

Гостиная в квартире Павловой на Английском проспекте. На овальном красного дерева столе китайская синяя ваза с охалкой крупных роз на высоких стеблях. На букете открытка Павловой в костюме Жизели из второго акта с надписью: "Добро пожаловать домой. Соскучились. Виктор". В прихожей свалены чемоданы: Павлова только что вернулась из своего первого большого турне по Америке. Она в дорожном английском костюме, усталая. В ее руках очередной выпуск "Рампы и жизни", где под рубрикой "Мелочи театральной жизни" напечатано:

"В скором времени состоится допрос сенатором Нейдгартом известной балерины Павловой в связи с ревизией городской управы. Артистка специально возвращается для этого из Америки".

Павлова задумывается и начинает снова читать распечатанное письмо; по всему видно, что она его уже раз пробежала и теперь пытается связать воедино письмо и записку. Письмо от сенатора Нейдгарта датировано 24 февраля 1911 года: "В связи с тем, что господин Дандре, взяв 50 тысяч золотом на постройку Охтенского моста, оказался совершенно несостоятельным, мы принуждены применить к нему административные меры... Взять его под арест, пока он не вернет долга... Вы, как человек, близко к нему стоящий... Петербургская городская управа призывает

вас в качестве свидетеля”.

Входит мать с чайным сервизом, в тревоге смотрит на озабоченное лицо дочери. Павлова нервно покусывает сустав безымянного пальца и теребит нитку крупных янтарных бус, что она всегда делает в моменты внутреннего беспокойства.

Мать: Нюра, ты бы хоть переделалась с дороги. Выпила чаю. Ведь не с дачи приехала. Шутка сказать, из Америки.

Павлова (в нервной ажитации начиная ходить по комнате): Не до чаев мне, мамаша... Виктор звонил?

Мать: Вчера звонил. Он под домашним арестом, но сказал, что сумеет вырваться к тебе любыми средствами. Я толком не поняла, в чем дело, но он сказал, что только ты можешь его спасти.

Павлова: Спасти?

Мать: Ты понимаешь, о чем это он?

Павлова: Понимаю... (*Подходит к окну*)

На улице метет февральская поэмка. У дома останавливается пролетка, из нее выскакивает Дандре и устремляется к подъезду.

Звонок в прихожей. Мать идет отворять дверь. Из прихожей доносится голос Дандре:

— Благодарствуйте, Любовь Федоровна... Ну и погодка, метет... А что Анна Павловна?

Павлова стоит у окна и нервно покусывает палец. Войдя в гостиную, Дандре бросается целовать ей руки:

— Наконец-то, Господи, приехали, лягушка-путешественница. Эти месяцы, думал, никогда не кончатся. — Он замечает ее встревоженное лицо: — Вы уже знаете?

Павлова (раздраженно): Но почему это письмо прислали мне? Хорошо, все знают, что вы мой поклонник, что мы близкие друзья, но это в конце концов еще не повод.

Дандре: Последнее время нас часто видели вместе на концертах, в ресторанах, словом, на людях. Знаете, у людей развито воображение.

Павлова: Но я не давала никакого повода. Это просто оскорбительно. Допрос... Что я знаю об этом?

Дандре: Анна, не сердитесь... В ваших руках мое спасение и, возможно, ваше будущее... Я уже перевел ценные бумаги в

Америку, где у вас был такой сенсационный успех. Понимаете, эти деньги я употребил для оборота, в качестве начального капитала. Железнодорожные акции растут. Мы сможем создать группу, хотя бы маленькую для начала.

Павлова (вскипая): Вы это все расчислили за моей спиной? Как вы посмели сделать меня сообщницей в вашей... сомнительной афере?

Дандре: Анна, игра совершенно честная. Строительство моста было несбыточным прожектом и было обречено на провал с самого начала. Я могу рассказать вам детали, но...

Павлова (мучительно соображая): Не надо... Сколько нужно денег?

Дандре: 35 тысяч для начала. Остальные деньги я займу у брата.

При упоминании такой крупной суммы Павлова хмурится.

Дандре (доставая из кармана несколько писем): Я уже списался с американскими менеджерами, они согласны организовать большое турне. Дело за вами... Анна, надвигается буря, которая перевернет Россию вверх дном, и я не хочу, чтобы в этой круговерти закружились и наши жизни.

Павлова (задумчиво): Наши жизни... Но вы понимаете, что даже в случае откупа вам придется дать подписку о невыезде. Значит, если вы уедете... если мы уедем, то вам путь в Россию будет заказан. И мне, боюсь, во многом затруднен тоже.

Дандре: Я думал об этом, но...

Павлова (перебивая): Но вы не подумали о том, что мне будет трудно без России, что я оставляю мать и мой Мариинский...

Дандре: Анна, будьте благоразумны... Театр погряз в рутине, лучшие роли вы уже станцевали, на Легата, как на хореографа, надежд никаких, Фокин уехал к Дягилеву. Что вас ждет? Самоповторение перед всеми этими господами, вами же избалованными, которые каждый раз ждут от Павловой, чтобы она переплюнула самое себя.

Павлова: Эта Америка — такая чужая, такая суматошная... И снега, вот такого русского снега, там тоже нет.

Дандре: Но не из-за снега же класть голову под топор?

Павлова: Какой долгой планируется поездка?

Дандре: Шесть-семь месяцев... Вот маршрут.

Он протягивает Павловой листок, но та, не глядя, откладывает листок в сторону и начинает ходить по комнате в глубоком раздумье. Дандре, чувствуя ее колебания, снова бросается в атаку:

— Анна, вы должны спасти меня и себя... Ради самой себя, ради искусства, ради нашей дружбы. Я в долгу не останусь... Подумайте, какая жизнь ждет вас здесь!

Павлова: Я не думаю, что моя жизнь, как я ее мыслю, существенно изменится... Свои беды мы возим с собою, и это единственный реальный багаж, от которого нам не избавиться. Меняются только декорации. Но я, наверное, должна уехать ради балета; как ни грустно расставаться с Мариинкой, я переросла ее.

Вокзал в Петербурге. Зеленый спальный вагон с надписью "Санкт-Петербург — Гельсингфорс". По перрону метет поземка. Павлова с Дандре и группой танцовщиков, стоя у окна вагона, прощаются с друзьями, машут руками, шлют воздушные поцелуи. Среди провожающих на перроне маленькая фигурка матери Павловой. Обе улыбаются сквозь слезы. Павлова кричит:

— Мамаша, не грусти, я скоро вернусь!

Та машет головой, показывая, что не слышит, что говорит дочь. Тогда Павлова, подышав на стекло, пишет: "Я вернусь". Поезд трогается, налетевший морозный ветер стирает надпись на стекле.

Павлова все еще стоит у окна, зябко кутаясь в меховую шубку. К ней подходит Дандре и обнимает ее за плечи. Павлова благодарно и с неподдельной нежностью прижимается к нему:

— Мне будет очень нехватать моей России, этого снега, этих просторов и этой тоски. Я буду по ним скучать.

— А моя Россия — это вы, и я увожу ее с собой, — отвечает Дандре.

Павлова благодарно заглядывает ему в глаза:

— Возможно, я делаю ошибку, быть может, я раскаюсь в своем решении, но я чувствую, что моя жизнь начинает идти как бы помимо меня, словно кто-то незримый взял ее в свои руки.

Вчера я зашла помолиться в церковь рядом с Маринкой и знаете, о чем я просила? Я просила: "Господи, дай мне любые испытания, ибо не я выбираю, а Ты... Но дай мне и силы все пережить и все выдержать".

Репетиционный зал в лондонском Палас-театре. Павлова в черном тренажном костюме репетирует с молодыми английскими балеринами "Вальс-каприз", который исполняется ее английскими подопечными довольно коряво, а главное, немзыкально: девочки аккуратно повторяют заданные движения, которые не слагаются в танец. Павлова морщится и бросает аккомпаниатору:

— Стоп, маэстро! Никуда не годится! Девочки, это никакой не вальс! Почувствуйте музыку. Танец — не гимнастика. Мюриэль, мы не в спортивном зале. Что ты делаешь со своими руками? Твои руки должны петь, плыть по воздуху вслед за музыкой. И потом, что это у вас, девочки, за постные лица? Как будто у вас всех вчера в одночасье скончались родители. Зачем эти поджатые губы? Они же ничего не выражают. Плачьте, если хотите плакать, или смейтесь, если хотите смеяться. Еще раз, маэстро...

Июнь 1930 г. Черный лимузин с Гарри, шофером Павловой, шурша новенькими шинами, неторопливо катится по усыпанной гравием идеально ровной английской проселочной дороге, постепенно забирающей в гору. В окне машины видна широкополая кремовая шляпа Павловой, сидящей рядом с шофером, ее слегка горбоносый профиль, рука в кремового цвета лаковой перчатке и острый локоть, обтянутый бежевым шелком платья от Пакена. На заднем сиденье — Дандре, свежесбривший, подтянутый, в светлом фланелевом костюме. Он почти погребен под бесчисленными шляпными картонками и коробками с туфлями. Павлова восхищенно, почти по-детски смотрит по сторонам, прислушиваясь к звенящему на все лады птичьему щебету. Дандре читает "Дейли Телеграф" и бурчит себе под нос: "Щелкоперы!"

— О чем это вы, Виктор? — спрашивает Павлова.

Дандре: Какой-то борзописец уже разразился статьей по поводу вашей травмы и выражает опасения, сможете ли вы танцевать в Монте-Карло, как было объявлено. "Похоже, что

дни великой Павловой сочтены”. Бумагомараки проклятые! Как вам это нравится?

Павлова: Пускай пишут. Я так счастлива, что позволила себе эту передышку, мне теперь не до газет. Господи, какой тут земной рай! Скорее к моим лебедям и птицам! Кстати, Виктор, вы не забыли заказать у мсье Белле несколько мексиканских аквилей? Дуняша мне сказала по телефону, что старые погибли.

Дандре: Все исполнено, как вы велели.

Павлова (блаженно улыбаясь): Боже мой, несколько недель тишины, и никаких интервью, журналистов. Вы уж позаботьтесь, Виктор.

Дандре: Доктор Залевский обещал навещать раз в неделю.

Павлова: Он мне совершенно не нужен. Уколы я буду делать себе сама.

Дандре: Анна, перестаньте...

Павлова (раздражаясь): Я сама знаю, что мне надо делать!

На холме среди моря зелени показывается двухэтажный особняк с большими окнами. Сложенный из темного камня, он увит плющом. Это Айви Хауз, резиденция Павловой.

Лимузин въезжает в каменные ворота. Взору открывается холеный газон идеально ухоженного парка, раскинувшегося на отлогих холмах. В искусственном озере плавают белые лебеди. К озеру ведет беломраморная лестница. Заслышав звуки клаксона, лебеди трубят и плещут крыльями. Среди них выделяется одна очень крупная птица с особенно царственной осанкой. Это Джек, любимец хозяйки, который волнуется больше других.

На каменное крыльцо высыпает три сияющие молодые женщины в белых передниках и наколках, горничные Павловой — Маня, Наташа и Дуня. За ними возвышается массивная мужская фигура в белом фартуке и поварском колпаке. Это Владимир, повар Павловой, широколицый мужчина лет сорока, крепко сбитый, с открытым добрым русским лицом. Узкая рука Павловой в перчатке машет им. Горничные и Владимир бросаются к машине, чтобы помочь с багажом.

На крыльце появляется еще одна фигура — невысокий господин лет шестидесяти в изрядно поношенном фраке с белой гарденийей в петлице. Его иссиня-черные крашенные волосы жид-

кими прядями падают на широкий выпуклый лоб, умные глаза, слегка подведенные гримировальным карандашом, смотрят радостно и зорко, обвислые щеки густо нарумянены, тонкие подкрашенные губы растянуты в иронической улыбке. Это Иван Хлюстин, бывший хореограф Павловой, которого она теперь держит скорее из жалости, в качестве консультанта.

Горничные окружают Павлову. Шумные поцелуи.

Павлова: Маня... Наташа... Дунюшка. Как я рада вас видеть! Господи, просто не верится, что я снова дома.

Наташа: Странница вы наша, Анна Павловна. Сокутились мы тут без вас до смерти.

Дуня: Небось, голодные. Завтрак вас заждался. Все, что вы любите: боровички в сметане, пирожки с мясом.

Павлова направляется к Хлюстину. Тот с картинной церемонностью целует ей руку. Павлова нежно его обнимает:

— Дядя Ваня, голубчик! Сколько лет, сколько зим. Ишь, каков франт, при фраке и даже гардению не забыл. Все, как в лучшие времена.

Хлюстин: Все для вас, Аннушка, все для вас, чародейка.

Павлова: Чародейка, да вот только малость хромоногая.

Хлюстин: Глупости, Аннушка! Болезни к вам не липнут, вы у нас железная. У меня как раз созрел замечательный проектец для вас...

Павлова (разговор начинает ее утомлять): Поговорим, дядя Ваня, только после завтрака.

Хлюстин: Да, без пары стопочек Смирновской язык у меня воруется плохо.

Павлова: Помню, помню. Все это потом, а сейчас скорее в оранжерею.

Павлова с Дуней входят в громадную застекленную оранжерею, которая примыкает к дому. Толстые змееобразные трубы нависли над тропическими пальмами, африканскими бегониями, крупными лиловыми цветами. Отдельно в громадной кадке — тонкая белоствольная береза. К потолку подвешены десятки птичьих клеток, на разные голоса заливаются их обитатели. "Здр-р-р-рассте!" — раскатисто кричит большой индийский попугай Душка с малиновым пятном на грудке и яркосиним пушистым султаном.

Павлова подходит к березе, разглядывает ее поникшие ветви, желтые пятна, испещрившие кружевную листву, странные наросты на стволе.

Павлова (в ярости): Опять то же самое! До чего ты, Дуня, нерасторопна! Опять проморгала. Я же просила подкармливать березу три раза в неделю, наверняка забыла. Одни офицеры в голове...

Дуня (сконфуженно): Какие офицеры, Анна Павловна... Да я за ней ходила, как за ребенком. Не живут они в кадках.

Павлова: Я сама знаю, живут или не живут. Немедленно позвони мистеру Борски. Пусть придет и посмотрит. А если поздно, прикажи привезти еще пару берез из Лондона.

Дуня: Да ведь эта уже пятая.

Павлова: Не твое дело, исполняй, что приказано.

Она гладит тронутый болезнью ствол березы. И видит серенький русский пейзаж, затянутую низкими облаками даль и косогор с березовой рощей. Нюра и бабушка ищут грибы. Вот Нюра наклонилась, сорвала большой подберезовик и, радостно улыбаясь, показывает его бабушке.

Павлова встряхивает головой, стараясь освободиться от непрошено возникшей в памяти картины, и внимательно обводит взглядом свое зеленое царство. В правом углу оранжереи чернеют частью увядшие, частью совершенно погибшие мексиканские аквилеи. Она направляется к ним. Дуня, предчувствуя взрыв хозяйского гнева, сутулит плечи, словно желает исчезнуть.

Дуня (жалобно): Матушка Анна Павловна, не гневайтесь, уж я всю душу на них, чертей, положила. И поливала их, и уваживала. Холодно им тут, туманов здешних не любят. Им солнце подавай.

Павлова (спокойно и строго): Я велела привезти новую партию. Уж позаботься о ней.

Быстрым шагом Павлова устремляется к выходу, на минуту остановившись, чтобы яростно оторвать увядшие соцветия и листья португальской герани.

В гостиной у венецианского окна на полукруглой отоманке сидят Дандре с Иваном Хлюстиным с бокалами в руках. Дандре, заметив нервозность вошедшей Павловой, спрашивает:

— Вы чем-то взволнованы, Анна?

Павлова (презрительно скривив губы): Взволнована? Ничуть. Просто стоит отлучиться из дома на долгое время, как все идет наперекосяк. Ни на кого нельзя положиться. *(Она проводит рукой по этажерке, заставленной трофеями, привезенными из балетных странствий).* Всюду пыль, вместо оранжереи находишь какое-то кладбище, птицы не кормлены, газоны не стрижены. Я не могу, понимаете, не могу всем заниматься одна. Следить за домом — ваша обязанность. Впрочем, у вас на этот счет свои представления: ваша обязанность — тратить деньги, которые я зарабатываю через силу, изнемогая. Но вам ведь все равно, потому что вы никогда не знали, что такое сердце. У вас вместо него грессбух. *(С плачем она убегает вверх по лестнице к себе в спальню).*

Дандре (обращаясь к Хлюстину): Знакомая картина. Как видите, мало что переменялось, только эти истерики участились.

Входит заплаканная Дуня:

— Виктор Эмильевич, накрывать на стол или как?

— Накрывай, да пошикарней. Очень есть хочется.

Длинный стол под белоснежной скатертью поражает царским великолепием. Таков хлебосольный обычай хозяйки, привыкшей жить на широкую ногу. В двух хрустальных вазах — свежие розы, срезанные в саду Дуняшей. В центре на гарднеровском блюде — горячие блины под серебряной крышкой. В соусницах из того же гарднеровского сервиза — сметана, растопленное масло, в хрустальной вазочке — черная икра. Блюда с розовой польской ветчиной, холодной индейкой, копченой осетриной и угрями. Жареные белые грибы в сметане. В плетеной корзинке — слоеные пирожки с мясом и капустой. Среди всего этого раблезианского роскошества выделяются графины с красным бордо и нежно-золотистым рейнвейном, запотевшие бутылки водки. В пузатом екатерининском графине с императорской короной джин "Олд Том", особенно жалуемый хозяйкой. На отдельном столике фырчит серебряный самовар. На розовом блюде с трубящими амурами — пышный торт "наполеон" с выложенной цукатами надписью: "Добро пожаловать, Анна Павловна".

По лестнице со второго этажа спускаются Дандре, Хлюстин и Павлова. Павлова в новом розовом платье с кружевами, перетянутом в талии шелковой шнуровкой, сильно декольтированная, посвежевшая и отдохнувшая. Дандре и Хлюстин во фраках и с гардениями в петлицах.

Павлова строгим взглядом окидывает стол и царственно усаживается в его главе. В ее уверенных движениях сквозит привычка командовать и повелевать. Ясно, что каждый ее каприз исполняется здесь без промедлений и возражений, как императорский указ. Дандре с Хлюстиным усаживаются по обе стороны от хозяйки. Хлюстин, гастроном и обжора, сияет в предвкушении разнообразных яств. Дандре доволен тем, что хозяйка опять в хорошем расположении духа.

— Ну, Аннушка, угодила! — восклицает, причмокивая, Хлюстин. — Ну, порадовала старика! — Он поддевает вилкой несколько блинов: — А теперь мы их, каналов, маслицем и сметанкой. А семушки нет?

Горничная Маняша спохватывается:

— Господи, совсем забыла, вот голова садовая! Сейчас, Иван Николаевич, извольте подождать.

И опрометью бежит на кухню, чтобы через минуту появиться с блюдом нежно-розовой семги. Павлова с улыбкой смотрит на Хлюстина, с аппетитом набрасывающегося на блюда, предварительно каждый кусок обнюхивая, как и подобает заправскому гастроному. Внезапно в дверях появляется павлин Петька и, распутив хвост, важно подходит к хозяйке. Павлова треплет его изумрудно-синюю шею:

— Петька-обжора пожаловал! Ну, красавец мой, сейчас я тебя угощу, но, чур, не кланчить больше.

Она протягивает Петьке кусочек пирожка. Тот деликатно склевывает его с ладони и направляется теперь к Хлюстину.

Хлюстин: Будет, будет, обжора. Вчера от тебя покоя не было, и сегодня принялся за то же самое. Ничего не получишь, ступай вон!

Павлин поворачивается к нему задом и своим распушившимся хвостом смахивает еду с тарелки Хлюстина ему на брюки, после чего важно удаляется из столовой.

Павлова залиvisto хохочет:

— Вот, дядя Ваня, будете помнить, как обижать Петьку.

Хлюстин страшно сконфужен. Подскочившая с полотенцем Маняша помогает ему вытереть брюки.

— Ох, негодник, ох, злодей! — причитает Хлюстин. — Это все ваши, Аннушка, выдумки. Научить птицу эдаким фокусам...

Павлова продолжает залиvisto хохотать:

— Нет, специально я его этому не учила.

Успокоившись, Хлюстин обращается к Павловой:

— Дело у меня к вам, Аннушка... Сам я староват уже сочинять, но есть у меня такая идея, уж не знаю, понравится ли. Давайте сочиним балет-феерию, но бессюжетную, состоящую из серии номеров в чисто классическом стиле старика Петипа. И поставим его, чтобы не отставать от моды, скажем, в том же Фоли Бержер.

Павлова (морщится): Фоли Бержер? Я же не кокотка и не певичка. Впрочем, зал там большой и сцена хорошая. И световая машинерия отменная.

Хлюстин (радостно подхватывая): Именно. Феерия со светом, эффектами.

Павлова (смеясь): Дягилевские лавры вам покоя не дают, дядя Ваня. А кто же будет ставить, если себя вы из игры выводите?

Хлюстин: У меня есть на примете двое, обоих вы знаете, оба молодые, с фантазиями.

Павлова (заинтересованно): Кого вы имеете в виду?

Хлюстин: Жоржа Баланчина и Фредерика Эштона. В прошлом году в Паласе...

Павлова (возмущенно перебивая его): Ну, Эштон куда ни шло, он, и вправду, не без способностей, только манерничает очень. Но Баланчин — это же дягилевский выкормыш. Наставит мне такого, что я последние ноги переломаю. *(Задумывается).* Впрочем, его "Аполлон" мне понравился, выучка у него наша, петербургская, чистый танец без дягилевской пошлости... Нет, дядя Ваня, поздновато мне экспериментировать, уж буду до-танцовывать, что умею.

Хлюстин: В 1916 году в Америке вы то же самое мне говорили, когда я вам предложил сделать сокращенную "Спя-

щую” на Ипподроме. Разучились рисковать?

Павлова (задумчиво): Рисковать, может быть, и не разучилась, а вот уверенность в себе, кажется, потеряла. Раньше за что ни бралась, все казалось единственно правильным, единственно возможным. Теперь, боюсь, выбор один — или рутина, или покой...

Она подходит к окну. День идет на убыль, и сиреневые сумерки понемногу окутывают парк. Шумят деревья, и сквозь их шум все громче пробиваются звуки увертюры из “Спящей красавицы”.

Мариинский театр конца восьмидесятых годов. Восемилетняя девочка Нюра Павлова в коричневом платье с белым воротником и двумя жиденькими косицами, завязанными коричневыми бантами, сидит в бельэтаже с матерью Любовью Федоровной и во все глаза смотрит на сцену. Там фея Сирени в серебристо-лиловом платье собирает вокруг себя фей. Нюра облизывает пересохшие губы. В оркестре возникает тема феи Карабосс, и вот она в колеснице, запряженной жирными хвостатыми крысами, в сопровождении нетопырей и уродцев въезжает в разряженную толпу гостей... Нюра в страхе и панике приникает к матери:

— Мамаша, мне страшно. Кто эта злая фея?

Мать (обнимая ее и прижимая голову девочки к себе): Не бойся, дуручка, это же театр. Это не всамделишные феи и дамы, они же актеры, танцовщики. Их научили, вот они и танцуют.

Нюра: А где их учат?

Мать: В специальной школе. (*Соседи по ложе на них шикают*). Тише, Нюра, смотри...

На сцене принцесса Аврора замирает в арабеске перед индусским принцем, принимая из его рук розу. Нюра, прижавшись к матери, шепчет:

— Мамаша, когда я вырасту, отдай меня в эту школу, и я тоже буду танцевать, как принцесса Аврора.

Мать с испугом и нежностью смотрит на дочь; в ее глазах сомнение и беспокойство...

Павлова отходит от окна, погруженная в свои мысли.

Хлюстин продолжает ей что-то взволнованно говорить, но она его не слушает.

... Серая афиша на огромном аляповатом здании Ипподрома в Нью-Йорке, находящемся на Шестой авеню между 43 и 44 улицами: "Чарлз Дюллингэм представляет с 31 августа 1916 года по 25 января 1917 г. большое шоу в трех актах. *Акт первый:* "водевили" с дрессированными слонами, акробатами и летающими пианистами, а также марш 24 выпускников Военной Академии Вест-Пойнт. *Акт второй:* "водевили" с жонглерами и состязанием менестрелей, в которых занято более четырехсот участников; во второй части АННА ПАВЛОВА со своей труппой дает 45-минутное представление "Спящей красавицы", балета на музыку Чайковского с хореографией Мариуса Петипа и Ивана Хлюстина, с декорациями и костюмами Льва Бакста. *Акт третий:* балет на льду "Веселая кукла".

Огромный зал Ипподрома, вмещающий около шести тысяч зрителей, набит до отказа. Только что закончился "водевиль" с летающими пианистами. Павлова в бакстовском костюме Авроры — темно-розовой пышной веерообразной пачке, сплошь усеянной бриллиантовыми и рубиновыми стразами и в нежно-розовом корсаже, отделанном рубиновым кантом, с высокой прической по моде двора Короля-Солнца — смотрит в зал сквозь дырку в занавесе. На сцене безумно жарко, с Павловой градом льет пот, как и со зрителей — мужчин во фраках и белых бабочках и дам в дорогих платьях, бриллиантах, но умеренно декольтированных, не в пример европейским.

Дандре наблюдает за установкой декораций. Тут же Хлюстин, молодежавый, прыткий, напомаженный, в последний раз проходит выход свиты феи Сирени. Видно, что Павлова заметно волнуется. К ней подходит Дандре:

— Волнуетесь, Анна? Как Наполеон перед Аустерлицем...

Павлова: С той только разницей, что он мог наблюдать за сражением со стороны, а мне вести его в первых рядах.

Дандре: Вам не впервые.

Павлова (снова заглядывая в зал): В такое сражение с публикой я, признаться, еще не ввязывалась. В сущности, это безумие — соперничать с акробатами, дрессированными слонами

и танцорами на льду. Посмотрите на эти лица — они пришли развлекаться, а им подсовывают "Спящую". Ну, да где наша не пропадала!

Дандре: Я верю в ваш гений, Анна.

Павлова: Слава Богу, что хоть вы верите. По-моему, я стою у самого края пропасти. Ну да ладно! Бегу поправить грим.

В уборной Павлову поджидает женщина в черном муаровом платье, отделанном черными же кружевами. У нее некрасивое, но значительное лицо и большие карие глаза. На длинной шее — ожерелье из изумрудов.

Павлова (радостно): Мери, дорогая!

Мери Гарднер: Я не могла не поцеловать тебя перед таким событием. (*Целует Павлову*). Дай-ка я на тебя посмотрю. Хороша, ничего не скажешь, но я бы прибавила камней.

Павлова: Ты с ума сошла, я и так выгляжу, как рождественская елка.

Мери Гарднер: Чем богаче, тем лучше. Ты не знаешь американцев. Их надо поразить пышностью.

Павлова (смеясь): Не танцами, так русским размахом. Жаль, не могу в соболях выйти, они нынче в моде. Ты тоже думаешь, что я обезумела с этим предприятием?

Мери Гарднер: Напротив. У американцев нет культуры, но есть восприимчивость и свежесть взгляда. Когда я впервые пела здесь "Норму", мне тоже все пророчили провал; когда я вышла на сцену, ноги были, как ватные. А в конце в зале творилось такое! Какие-то сумасшедшие даже стреляли.

Павлова: Боюсь, что если сегодня будут стрелять, то только в меня.

В уборную заглядывает Хлюстин:

— Аннушка, уже Карабоссиха на сцене!

Павлова: Истинно американский темп. Длиннющий пролог прогоняем за десять минут. Что бы сказали в Мариинке, если бы это увидели. Прокляли, и были бы правы. О, я забыла в этой сумятице вас друг другу представить: Мери Гарднер — чудо американской оперной сцены, Иван Хлюстин — чудо русской хореографии, чудом занесенное в американские широты.

Хлюстин (церемонно поклонившись): Счастлив познакомиться, сударыня.

Павлова в последний раз осматривает прическу, целует иконки и фотографию матери.

Мери Гарднер: Ну, я бегу в зал, чтобы не пропустить твой выход. Как ты говоришь (*произносит по-русски*), ни пуха, ни пера.

Со сцены несутся звуки вальса. Павлова, пробираясь сквозь толпу, бежит за кулисы. 120 танцовщиков заполнили сцену, которая представляет собой сад с фонтаном в центре.

Пейзане в синих баскских штанах до колен и алых "фигаро", брошенных на белые рубашки; пейзажи в красных юбках с белым орнаментом и в голубых блузках. Держа над головой белые, розовые и синие гирлянды цветов, они раскачиваются в такт вальса, являя собой удивительное зрелище, как бы предвосхищающее будущий голливудский размах.

Павлова стоит за кулисами и наблюдает за ними. Она то и дело оттирает пот, беря из рук горничной пуховку и пудря нос. Перед ней стоит коробка с тертой смолой, которой она натирает то одну, то другую туфлю. Покончив с туфлями, она нагибается вперед, доставая ладонями пол, потом откидывается назад. Вальс закончен. Зал взрывается рукоплесканиями.

Церемониймейстер Каталябют призывает всех к вниманию. Звучат первые такты, предвещающие выход Авроры. Павлова выпрямляется во весь рост, делает короткий глубокий вдох и облизывает пересохшие губы. Откинув правую руку назад, она словно прикасается к чему-то невидимому, к незримой силе, дающей ей энергию, и устремляется на сцену. Ее встречает гром рукоплесканий...

Ночь в Айви Хаузе. Спальня Павловой. В большом венецианском окне огромная оранжевая луна. Спальня обставлена мебелью красного дерева, привезенной из петербургской квартиры. В углу небольшой киот с хорошими иконами Новгородского письма XVII века. Павлова читает в постели довольно замусоленный том "Войны и мира". От неожиданного стука в дверь она вздрагивает. Не дожидаясь ответа, Дандре в пижаме появляется на пороге. Подойдя к кровати, он садится на атласное, отделанное кружевом одеяло, и целует Павлову в шею. Она привычным жестом гасит свет...

...Комната залита ровным лунным сиянием. Павлова тоскующими глазами смотрит в широкое окно. Дандре, встав с постели, подходит к ней, целует в лоб со словами: "Спокойной ночи, дорогая" и уходит к себе. Павлова отворяет окно в парк, жадно вдыхая душистую ночную свежесть. На пруду белеют силуэты спящих лебедей.

Павлова набрасывает халат и по лестнице спускается в гостиную, чтобы затем через застекленную дверь выйти в парк. Освещенное лунным светом павловское лицо блаженно сияет. Она не идет, а словно плывет между деревьев, касаясь кустов своими длинными, гибкими руками. Возникает мелодия "Ночи" Рубинштейна. Она так замечательно отвечает ее настроению, этому ее слиянию с природой, что Павлова начинает танцевать. Она кружится на широкой, окаймленной дубами и полого сбегаящей к пруду поляне. В ее руках цветочные гирлянды, ночная рубашка преображается в просторный хитон á la Дункан, ноги обуты в греческие сандалии...

Белый крупный лебедь приветственно трубит, выгибая крепкую длинную шею, и подплывает к ней. Павлова шепчет:

— Джек, Джек, дружочек мой дорогой!

Лебедь хлопает огромными крыльями, словно собираясь взлететь, обдаёт хозяйку брызгами и водяной пылью, тычется клювом ей в шею, потом с царственной неуклюжестью вылезает из воды. Павлова начинает веселую возню со своим любимцем: треплет его за шею, засовывает голову под крыло, щекочет. Глядя лебеда, она устремляет тоскующий, невидящий взгляд в пространство...

Мужчина в балетной тренажной форме стоит у палки перед зеркальной стеной репетиционной зальцы и, опустив голову и внимательно следя за стопами, делает экзерсис. Посередине зальцы — Павлова в черном трико; ее волосы перехвачены шелковой лентой. Она буквально пожирает глазами статную фигуру танцовщика и настолько этим поглощена, что поначалу даже не замечает нелепости ситуации: она пришла на репетицию, а ее партнер демонстративно, потому что нельзя допустить, чтобы он не заметил ее прихода, продолжает экзерсис, даже не повернув головы в ее сторону. Внезапно она спохватывается и, сердясь на себя, а еще более опасаясь, как бы танцовщик не

поймал ее восхищенного взгляда в зеркале, раздраженно бросает:

— Михаил, вам не кажется, что заставлять даму ждать по крайней мере не по-джентельменски? Репетиция назначена на одиннадцать, и я, как всегда, пришла минута в минуту.

Танцовщик, отрывая взгляд от своих стоп, смотрит прямо в зеркало, не прекращая экзерсиса. У него крупное лицо с правильными, можно сказать, греческими чертами, серые, чуть навывкате глаза с неправдоподобно длинными ресницами, волевой подбородок с едва обозначенной ямочкой, чувственные пухлые губы. Это Михаил Мордкин, танцовщик Большого театра, с которым Павлова танцует с 1909 года и на этот раз должна открывать Лондонский сезон 1910 года. На мгновение задержав взгляд на отражении Павловой в зеркале, он говорит заикающейся скороговоркой:

— Вчера из-за вашего интервью газетчикам, о котором вы даже не почли меня долгом уведомить, я прождал вас битый час до начала репетиции, а позавчера ждал полтора, потому что вы соблаговолили задержаться на коктейле у леди Куинсборо.

Павлова: Вы прекрасно знаете, что это произошло не по моей вине. И что я ненавижу все эти дурацкие коктейли и приемы.

Она подходит к роялю, за которым сидит смертельно перепуганный тапер, старичок-англичанин. Не понимая русской речи, он слышит этот обычный русский разговор на повышенных тонах, который для его воспитанного английского уха звучит, как уличная перебранка. Павлова замечает это и веселится.

Павлова: Перестаньте злиться, Михаил. Мы и так до смерти напугали почтенного мистера Бройля. Как поживаете, мистер Бройль?

Старичок проворно вскакивает и целует Павловой руку, бормоча какие-то комплименты. Павлова лукаво глядит на Мордкина и, улыбаясь, продолжает:

— А сердитесь вы, Михаил, потому, что вас на этот коктейль не пригласили.

Мордкин, резко обрывая экзерсис на плие, выпаливает все той же нервной скороговоркой:

— Мне наплевать, милостивая государыня, на все ваши приемы и на ту светскую шуштуру, с которой вы ежедневно

якшаетесь. Я понимаю, что вам, выросшей в семье... не князей Долгоруких, особенно лестно...

Павлова (загораясь гневом): Вы намекаете, что моя мать была прачкэй?

Мордкин (невозмутимо): Я не намекаю, а констатирую факт. Вы настолько неуверены в себе, что ваша амбиция поистине уже не знает пределов, и вы любого готовы принести ей в жертву.

Павлова: Замолчите!

Мордкин: Нет уж, извольте выслушать меня до конца. Ваш супруг с таким усердием организует ваш успех в Лондоне, что в глазах рябит от фотографий "великой Павловой". На афишах ваше имя набрано такими буквами, что, право, становится даже совестно... Советую мое имя в следующий раз набрать петитом.

Павловой приятно, что ей косвенно удалось уязвить этого не поддающегося приручению красавца. От сознания собственного триумфа она вдруг начинает смеяться.

Мордкин (растерянно): Что вы смеетесь? Я не вижу ничего смешного...

Павлова: Вы бы посмотрели на себя со стороны, Михаил: горячитесь, размахиваете руками, как рыночная торговка. Афиши, газеты, петит... Вы еще не подсчитали количества букетов и наших поклонов перед занавесом... Разве можно быть таким мелочным? Афишу я прикажу поменять; признаться, я ее в глаза не видела, это вотчина господина Дандре.

Мордкин: А вы ничего и никого вокруг себя не видите. Все существует лишь для вашего антуража, а я, извините, сударыня, существую сам по себе.

Павлова: Вы это замечательно доказали. Оставим нашу перепалку и давайте репетировать, не то у мистера Бройля будет сердечный припадок.

В продолжение перебранки мистер Бройль и в самом деле выглядит так, как будто вот-вот хлопнется в обморок: он бледен, то и дело хватается за сердце, порывается уйти из репетиционной зальцы, но не может, потому что путь ему преграждают Павлова и Мордкин.

— Мистер Бройль, начинаем, — просит Павлова.

Они репетируют финал "Вакханалии", завершающийся в

хореографии Мордкина высокой поддержкой, из которой Павлова выходит на "рыбку".

Павлова (останавливая репетицию): Михаил, мне это решительно не нравится. Тривиально и не эффектно. Я предлагаю вам другое: я делаю жете по диагонали, падаю вам на руки, арабеск, поддержка, и в этом арабеске вы меня уносите за кулисы.

Мордкин: Я не желаю этих силовых аттракционов.

Павлова: Но это гораздо эффектнее. Не упрямитесь, давайте попробуем.

Они репетируют. И в самом деле, получается гораздо выразительнее. Мордкин, чувствуя правоту Павловой, артачится еще больше:

— Нет, это решительно не годится, в этом есть что-то цирковое и безвкусное. К тому же поддержка неудобная.

Павлова: Неудобная, потому что вы подхватываете меня правой рукой. Возьмите левой, а правой подымите.

Мордкин (раздраженно): Только увольте меня от ваших уроков. Свою петербургскую школу упражняйте на своих девочках, на ваших подопытных морских свинках.

Павлова: Неужели вы не можете сделать мне одолжение, не балерине, а просто женщине. Уважить ее волю.

Мордкин: В балете нет ни мужчин, ни женщин, а есть равноправные партнеры.

Павлова: Ну, довольно! Моему терпению тоже есть предел. Я не железная. В конце концов, вы в моем ангажементе и обязаны делать то, что я требую. Или финал будет таким, как я сказала, или я отменяю "Вакханалию". Вашу редакцию можете танцевать с кем-нибудь другим... с вашей женой, к примеру. Чем вам не партнерша?

Резко повернувшись, Павлова выходит из зала. Мордкин с ненавистью смотрит ей вслед.

У парадного входа Палас-театра висят афиша и громадная картонная фигура Павловой в арабеске. Огромные буквы гласят: **ВЕЛИКАЯ АННА ПАВЛОВА СО СВОЕЙ ТРУППОЙ**. Имя Мордкина напечатано крупнее других, но оно — ничто по сравнению с аршинными буквами, которыми набрано имя Павловой.

Мордкин с балетной сумкой через плечо с иронической улыбкой разглядывает афишу. К нему подходит Павлова, только что вышедшая из театра.

Мордкин: Вот, полюбуйтесь на творение вашего эстетасупруга. Вы рекламируетесь, как мыло или зубная паста.

Павлова: Какая пакость! Я сейчас же прикажу убрать эту безвкусицу.

Мордкину нравится это неподдельное выражение неудовольствия со стороны Павловой. Некоторое время они идут рядом молча, потом он говорит:

— Я рад, что вы, кажется, впервые за эти полтора года, признали мою правоту. Я согласен пойти на ваши условия и сделать финал по-вашему.

Павлова (радостно): Правда? Вот как славно все оборачивается!

Мордкин: Я даже готов отпраздновать это событие в ресторане.

У Павловой изумленно раскрываются глаза:

— Это как понять? Как приглашение на ужин?

Мордкин (улыбаясь): В сообразительности вам не откажешь. Итак, я позвоню вам в номер и мы решим, куда двинемся. Что-нибудь около восьми, идет?

Прощаясь, Мордкин с чувством пожимает руку Павловой, задерживая ее в своей. Павлова смущенно отнимает руку и уходит. Мордкин с заговорщицким видом смотрит ей вслед.

В номере Павловой звонит телефон. Она сидит перед зеркалом и прихорашивается.

— Алло! Да, Михаил... У вас в номере?... Я не возражаю, но, признаться, я не привыкла бывать в номерах у посторонних мужчин. И к тому же женатых... Она в Париже? Вернется к спектаклю? Хорошо, я буду у вас через четверть часа.

Павлова кладет трубку. На ее лице написано недоумение, смешанное с почти что ликованием. Она хлопает в ладоши, смеется, потом задумывается. Тень сомнения пробегает по ее лицу. Ситуация ее явно интригует. Быть может, несговорчивость и скандальность Мордкина объясняются совсем не его завистью к ее успеху? Возможно, строптивость Михаила, постоянный

поединок их двух воля проистекает от его увлеченности ею, от его неумения или нежелания показать истинное чувство. Иначе зачем этот интимный ужин? Но прочь сомнения, будь что будет. Она бросается к шкафу, вываливает из него платья, начинает выбирать. Потом спохватывается, бросается к телефону и набирает номер Дандре:

— Виктор, сегодня вечером я занята. Так что ужинайте без меня... Я возбуждена? Это вам показалось... Проследите, чтобы правильно укоротили тунику для "Вакханалии". И уберите эти ужасные цветы, я с ними выгляжу, как гейша. До свиданья.

Одетая в синее шелковое платье, с двойной ниткой жемчуга, с волосами, перехваченными голубым шелковым шарфом, Павлова идет по гостиничному коридору и останавливается у номера Мордкина. Внезапно ее охватывает страх, она кусает губы, поправляет прическу, платье и звонит в дверь. Мордкин во фраке и с хризантемой в петлице открывает. Фрак ему очень к лицу, и от его тяжеловато-мужественной красоты Павлова на секунду торопее, неловко улыбаясь. Мордкин галантно отступает перед ней и шутливо кланяется на манер полового, правой рукой поддерживая невидимое полотенце:

— Ваше императорское высочество, ужин вас ждет.

Павлова: Простите, герцог, но меня задержали на государственном совете.

Мордкин: Решали, кому снести голову? Надеюсь, не мне.

Павлова: Покамест не вам. Все зависит от вашего поведения — от усердия, преданности королеве, покладистости.

Она бросает взгляд на стол, покрытый крахмальной скатертью, где стоит бутылка шампанского в серебряном ведерке со льдом, водка в графине, черная икра, закуски:

— Как это мило, вы сочинили ужин из всего, что я люблю.

Мордкин: А на горячее, с вашего позволения, нам подадут филе миньон, который, помнится, вы обожаете.

Павлова: Чудно. Но шампанское? Накануне спектакля? Вы что, хотите, чтобы завтра на сцене у меня отказали ноги? Да и вам, Михаил, не советую.

Мордкин: Тогда лимонной водки, как вы любите. Для бодрости духа.

Павлова встает и подходит к окну, выходящему в Гайд Парк:

— Какой у вас чудный вид из окна! Вам нравится Лондон?

Мордкин (протягивая ей рюмку): Город как город. Я люблю Москву, свою татарскую столицу. Все эти западные города для меня не более, чем театральные декорации, — просто фон, к которому я, в общем, не имею отношения. Итак, за ваш завтрашний успех!

Павлова: Почему только за мой? За ваш тоже!

Мордкин (галантно, с едва заметной иронией): Мой успех там, где вы, сударыня.

Павлова сражена его обходительностью и разительной переменной в отношении к ней. Она принимается за закуски, но явно не знает, о чем говорить. От смущения как-то по-детски и в то же время глуповато смеется.

Мордкин: Ваше высочество находит меня смешным?

Павлова: По крайней мере забавным...

Опять повисает пауза.

Мордкин (подливая ей водки): Выпьем еще.

Павлова: Михаил, вы хотите меня спойть? Хотите, чтобы я свалилась под стол накануне премьеры?

Мордкин: Я думаю, даже эго вы сделали бы с гениальной грацией.

Павлова: Уговорили... Я и не знала, что вы можете быть таким милым. На репетициях мы вечно ссоримся, вы мне дерзите, я тоже бываю не ангел. Выпьем за вечный мир между нами. Я сегодня настроена очень мирно.

Мордкин: Прелестный тост, нельзя лучше придумать. За мир в балете и в жизни!

После второй рюмки Павлова заметно хмелеет, с аппетитом закусывает. И вдруг заливается хохотом. Мордкин спрашивает:

— Я опять кажусь вам забавным?

Павлова: Нет. Я вообразила, что, если бы сейчас меня увидела моя мама. Ее примерная, воспитанная в строгих правилах дочь пьет водку в номере у постороннего мужчины, к тому же женатого, да еще накануне своей лондонской премьеры.

Мордкин: Но вы ведь тоже замужем?

Павлова: Не вполне... Я бы даже сказала, просто не замужем. Виктор — мой импрессарио, самый близкий друг, моя правая рука, но...

Мордкин: Понимаю... Еще рюмочку?

Павлова: О нет, увольте... У меня уже стены пляшут.

Мордкин с обольстительной улыбкой заглядывает Павловой в глаза, слегка подавшись вперед через стол. Он почти гипнотизирует ее своим взглядом:

— Анна, по-моему, нам пора перейти на "ты". Выпьем на брудершафт. В Петербурге у вас это считается, небось, фамильярным.

Павлова: Что ж, попробуем. Еще никогда ни с кем не пила на брудершафт.

Мордкин наливает две рюмки, протягивает одну Павловой и, подойдя к ней, обнимает ее за талию. От прикосновения его сильных рук она вздрагивает. Павлова, морщась, выпивает рюмку Мордкина, а он залпом опустошает ее рюмку. Его полные губы осторожно касаются ее губ. Она отвечает на поцелуй, не разжимая рта, сконфуженно и боязливо. Ее робость подхлестывает Мордкина, он буквально впивается в ее губы. Павлова поспешно встает, поправляет прическу:

— Я совершенно пьяна. Проводите, проводи меня в номер.

Мордкин берет ее за плечи и сильно прижимает к себе:

— У нас впереди целый вечер. Как насчет того, чтобы пойти на шоу в казино?

Павлова: Делайте, что хотите... Я ничего не понимаю...

Но привычка контролировать свои чувства на секунду берет верх:

— Это безумство, Михаил... Накануне премьеры...

Мордкин еще крепче прижимает ее к себе, шепчет:

— Безумств не совершают только посредственности.

Павлова: В твоих руках и плечах такая уверенность, такая сокрушающая сила... Знаешь, ты похож на античного бога, на Аполлона.

Мордкин: Я и есть бог, ты просто этого раньше не замечала.

Павлова: Замечала, только ты этого не видел...

Мордкин выпускает ее из своих объятий:

— Я сейчас вернусь.

Когда Мордкин возвращается, она сидит на постели полураздетая, с распущенными волосами. Мордкин бросает на нее холодный взгляд триумфатора и украдкой смотрит на часы. Павлова, несмотря на свое опьянение, это замечает:

— Ты спешишь?

Мордкин: Боже упаси, с чего ты взяла?

Павлова (обнимая его): Мне показалось...

Слышен пронзительный звонок в дверь, долгий и упорный. С деланно удивленным выражением лица Мордкин идет в прихожую. Слышны голоса. Наконец, он появляется в сопровождении своей жены Пожицкой, артистки кордебалета. В дорожном костюме и с баулом в руке Пожицкая молча смотрит на Павлову. Павлова от ужаса трезвеет, пытается поймать взгляд Мордкина. Его глаза опять становятся такими же безжалостными, как во время репетиции "Вакханалии". Павлова понимает, что попала в подстроенную Мордкиным ловушку. Собрав всю свою волю, она приказывает чете Мордкиных:

— Выйдите, по крайней мере, из комнаты... И дайте мне одеться.

Наспех надев платье, простоволосая, она выбегает в коридор. Ее душат слезы. Бормоча: "Какая низость! Каков мерзавец!", она вбегает в свой номер и, рыдая, падает на постель.

Утро. Павлова с темными кругами под глазами, лихорадочно курая, ходит по комнате. Она в отчаянии при мысли о предстоящей встрече с Мордкиным, с которым ей танцевать всю программу. На столе завтрак, к которому она и не притронулась. В дверь стучат и, не дожидаясь ответа, в номер входит Дандре.

Дандре: Что случилось? На вас лица нет! Вы заболели?

Павлова: Перестаньте кудахтать! Я здорова, просто плохо спала... Виктор, сделайте все возможное, чтобы заменить Мордкина сегодня вечером.

Дандре (встревоженно): Как заменить? Вы же не можете танцевать без партнера в "Вакханалии". Вы сами в интервью...

Павлова: Я не буду танцевать с Мордкиным сегодня вечером. Отменяйте спектакль.

Дандре: Хорошо, я сделаю все возможное, если вы так решили. Но могу я знать, почему.

Павлова (плачет): Не спрашивайте... Я не могу...

Дандре: Я понимаю...

Павлова: Ничего, вы Виктор, не понимаете... Да и где вам!

Дандре: На представлении будут королева, двор, принц Уэльский. Такая шумиха в газетах. Я, конечно, попробую сделать все, что в моих силах...

Павлова (успокаиваясь): Хорошо... Не тратьте понапрасну вашей энергии... Спектакль будет, и я обещаю вам, что он не обманет ожиданий прессы и августейших особ...

Грим-уборная Павловой в Палас-театре. В греческой тунике вакханки из пурпурно-сиреневого шелка она завязывает тесемки серебряных сандалий на икрах. Встает, делает несколько прыжков, гнется, потом поправляет тесемки на левой ноге. Раздается стук в дверь. Погруженная в свои раздумья, Павлова бесстрастно бросает:

— Войдите!

На пороге вырастает фигура Мордкина. Он в алой тоге, на ногах — коричневые сандалии, в волосах лавровый венок. Павлова молча, в беззвучной ярости смотрит на него.

— Я понимаю, что вы обо мне думаете, — говорит Мордкин. — Мне нет оправдания... И если вы можете мне поверить, что я не хотел...

Павлова: Ах, вы не хотели?! А что вы хотели? Унизить меня? Растоптать меня, как женщину, отомстить так мелко, так вульгарно, как последний плебей... Я всегда знала, что вы не мужчина, и вы это замечательно доказали...

Мордкин: Я пришел извиняться, а не снова ссориться.

Павлова: Ссориться? А кто сказал, что я с вами ссорюсь? Ссорятся с равными по званию и положению. А кто вы? Ничтожный циркач, недоучка, которого я по своей глупости подобрала, сделала ему имя. Кто вы были до меня? Кто вас знал? Вы — неблагодарное ничтожество, которое возомнило себя богом, решило унизить Павлову. Павлову нельзя унизить, потому что она выше низости.

Мордкин (загораясь гневом): Ну, довольно! Вы пожалеете о своих словах, и еще как пожалеете. Кухарка!..

Мордкин царственно поворачивается и стремительно вы-

ходит из уборной. Вслед ему летят балетные туфли, гримировальный прибор, стаканы.

Звучит ликующая музыка Глазунова из "Времен года". Павлова-вакханка дразнит сатира, то падая ему на колени, то выскальзывая из его цепких рук и стремительно кружась по сцене. Она вся — хмельной, пьяный танец. Ее как будто даже забавляет ситуация с Мордкиным на сцене, где он домогается ее и преследует, а она не дается. Только ее глаза горят все тем же холодным бешенством. Время от времени их взгляды скрещиваются — в глазах Мордкина нет-нет да промелькнет мстительное злорадство. Танец из хмельной вакханалии постепенно превращается в поединок двух волей, двух характеров, чреватый взрывом. Вот подходит тот момент, из-за которого между партнерами разгорелся спор на репетиции. Мордкин готовится к высокой поддержке, чтобы после нее Павлова могла сделать "рыбку", но Павлова из угла сцены летит по диагонали, чтобы с размаху упасть спиной ему на руки, после чего он должен поднять ее в высокой поддержке. И когда Павлова падает Мордкину на руки, он сбрасывает ее на пол. По залу пробегают сдавленные "охи", некоторые зрители вскакивают со своих мест, кто-то кричит: "Она ушиблась!"

Но Павлова, благодаря эластичности мышц и способности мгновенно скоординироваться, амортизировала свое падение и мгновенно поднялась с пола. На секунду их взгляды, торжествующий — Мордкина и горящий бешенством — Павловой, встретились. Размахнувшись, она дает ему звонкую пощечину и исчезает за кулисами.

Снова Айви Хауз. Перед домом стоит лимузин. Идет погрузка коробок с балетными туфлями, костюмов, прочего скарба. Дандре помогает Гарри и Дуняше паковать вещи. Павлова, одетая по-дорожному, выходит на крыльцо, со вздохом оглядывает свое уже тронутое красками ранней осени зеленое царство и направляется к машине

Павлова: Пора ехать, Виктор, как ни грустно.

Дандре: Я вас встречу в Каннах. Не злоупотребляйте грязевыми ваннами и чаще делайте массаж.

Павлова: Вы мне это твердите уже в десятый раз. Я же не маленькая девочка... Грустно уезжать. Просто плакать хочется. И когда я угомонюсь, когда поселюсь здесь навеки?

Дандре: Наверное, никогда.

Павлова: Должно быть, вы правы. Как сказал мне один умный человек, творчество — проклятье и наркотик, и кто им заразился, не избавится от этого наваждения до смерти.

Поезд Париж-Канны. Павлова в купе читает газету, пожевывая, рассеянно листая страницы. На одной из них — ее огромная фотография в "Стрекозе", под которой помещена программа будущих гастролей на юге Франции и в Голландии. Дойдя до объявлений о сдаче квартир и домов на лето, ее взгляд падает на следующее объявление: "Сдается на лето дом в Мезерб, Рю де Капюсин 2, спросить мадам Тессье".

Павлова задумывается, улыбается, и, как бы припоминая что-то, говорит самой себе: "Рю де Капюсин 2".

Автомобиль подъезжает к перекрестку двух улиц в дачном местечке под Каннами. Павлова говорит шоферу:

— Поверните направо. Второй дом от угла.

Живая изгородь из олеандров. За нею — типичная двухэтажная французская вилла с балконом и белым крыльцом, стоящая на вершине холма, полого сбегающего к морю. Павлова подходит к дому и уверенным движением звонит. Дверь открывает хозяйка — женщина средних лет с птичьим лицом:

— Бонжур, мадам! Что вам угодно?

Павлова: Я прочла объявление в газете и хотела бы взглянуть на дом... Какой замечательный сад, и как он разросся!

Хозяйка: Мы купили этот дом два года назад и сразу же взялись за сад, он был страшно запущен.

Павлова: Этот дом несколько лет тому назад снимали мои друзья, вернее, один мой друг.

Хозяйка: Как удивительно, мадам! Позвольте показать вам комнаты.

Она жестом приглашает Павлову пройти в дом, но та стоит, не двигаясь.

...Картина вокруг оживает. По обеим сторонам белого

крыльца цветут розы, балкон увит диким виноградом. Яркое солнечное утро. Павлова в белом халате с распущенными волосами сидит за мольбертом и рисует, время от времени посматривая в сторону берега.

К дому по склону холма поднимается мужчина в темно-синем купальном костюме по моде двадцатых годов с наброшенным на шею полотенцем. На вид ему не больше 35 лет. У него усы и бородка, подстриженные на французский манер, крутой высокий лоб с залысинами, большие карие глаза. Это художник Александр Яковлев, обосновавшийся во Франции еще до революции и прославившийся портретами и эскизами с натуры, привезенными из его нашумевшего путешествия по Центральной Африке.

Яковлев бросает полотенце на соломенный стул, подходит к Павловой, обнимает ее за плечи и целует в щеку. Та с притворным пренебрежением, которое у нее плохо выходит, потому что она не умеет кокетничать, отстраняется:

— Саша, погоди. Дай закончить этот куст.

Яковлев с напускной серьезностью рассматривает картину:

— Для дебютантки совсем неплохо. Но "в правом углу ваше облако кричит". — Он берет из рук Павловой кисть и делает несколько решительных мазков: — Помнишь, откуда эта цитата?

Павлова: Опять экзамен по литературе? Хочешь лишний раз дать мне почувствовать, какая я серая, необразованная дура. Так откуда эта цитата?

Яковлев: Из Чехова, "Попрыгунья"

Павлова (морща лоб): Не помню... Вообще, не люблю Чехова. О чем же там?

Яковлев: Героиня, жена земского врача, убегает с любовником-художником от скучного мужа, рисует картины, а тот ей их правит и все время говорит: "Это дерево или это облако у вас кричит". (*Заливисто хохочет*).

Павлова: Что тут смешного? Общее только то, что любовник — художник. Впрочем, мой муж — тоже скучный. Ты бы не выдержал Виктора и минуту! Он нудный, по-немецки обстоятельный педант... Ну, а героиня кто?

Яковлев: Пустельга, попрыгунья, все время веселится, а муж трудится в поте лица, оплачивает ее безумства и увлечения.

Павлова: Тут уж полная осечка. У нас, скорее, наоборот. Тржусь я и все оплачиваю. Вернее, плачу за все. Плачу за единственный компромисс, за мгновение слабости. Никогда нельзя идти на компромиссы.

Яковлев: Но у тебя не было выбора.

Павлова: Я оформила наш брак, когда приехала в Америку. Кажется, в Бостоне, не помню, я ведь не могла с ним даже остановиться в одном номере. В Англии тоже косо смотрели на мое постоянное пребывание с Виктором. Иногда условности сильнее нас. Он — неплохой человек, но трудно представить себе кого бы то ни было, столь непохожего на меня. У него в голове цифры, логика. Хотя я многому у него научилась. Научилась доверять не чувствам, а голове... Довольно об этом. Смотри, какое великолепное утро... Наверное, тысячу лет назад я была цветком или пчелой. Ничему на свете я так не радуюсь, как солнцу, дождю, зелени. Когда была девчонкой, в Лигове всегда выбегала в грозу на лужайку, чтобы вымокнуть до нитки. Такое блаженство! Тут за эти три дня я совершенно воскресла... Да, так чем же кончилась история с этой пустельгой?

Яковлев: О, финал довольно грустный. Муж умирает, любовник ее бросает.

Павлова: Скучно. Урок литературы окончен. Профессор, вы, небось, проголодались?

Яковлев: Не без этого. Пойду, скажу мадам Белье, чтобы несла завтрак.

Павлова: Я ее сегодня отпустила. Решила сама поиграть в примерную хозяйку. Через десять минут, сударь, завтрак будет на столе.

Яковлев (смеясь): Могу себе представить, какой астрономической суммой будет измеряться моя благодарность. Сударыня, я готов платить по счетам.

Он уходит в свою комнату. Павлова не без грусти смотрит ему вслед: "Боюсь, что платить придется мне. Но мне не привыкать".

В чашках дымится кофе. В вазе свеженарезанные розы. На блюде тартинки. Павлова в голубом платье, отделанном кружевом; ее волосы перехвачены синей шелковой лентой. Яковлев в летнем полотняном костюме.

Павлова: Ну, как тартинки?

Яковлев: Замечательные!

Павлова: Признайся, ты ведь не верил в мои кулинарные способности?

Яковлев: Ну почему.

Павлова: Конечно, не верил. У тебя предубеждение против балерин. Ты считаешь их если не существами второго сорта, то уж во всяком случае неполноценными женщинами.

Яковлев: Хочешь правду? В принципе, да. В балете есть что-то унижительное: отплясывать, как дрессированная лошадь в манеже, всегда одно и то же для забавы толстосумов и снобов. Разумеется, ты не должна принимать это на свой счет. Ты — исключение, у тебя есть драгоценная способность добавлять к танцу что-то необъяснимое. Ты насыщаешь свой танец такой энергией, что передаешь ее другим, заражаешь их. Всякое большое искусство — это сгусток человеческой энергии.

Павлова: Я и сама часто спрашиваю себя: зачем эти жертвы, этот каждодневный страх потерять форму, технику, публику, эти каждодневные сражения за совершенство... Танец недолговечен, как бабочка. Зачем эти жертвы, и кто их ценит?

Яковлев: А кто ценит природовые муки женщины, агонию поэта, выплескивающего свой бред на бумагу? Искусство — акт глубоко эгоистический, оно нужно прежде всего творцу, потому что это — форма его существования. Что тебе дает большее удовлетворение, чем этот озноб восторга, это сладкое, мучительное сердцебиение, когда ты на сцене? Любовь, житейские радости? Никогда не поверю.

Павлова: Мне всегда немного страшно от твоих слов. Ты умеешь облечь в слова то, в чем мне трудно самой себе признаться. А может быть, и не хочется. Когда я с тобой, мне хочется послать балет к черту и быть просто женщиной.

Яковлев: Ты этого хочешь потому, что это тебе недоступно... Тебе бы скоро наскучила наша идиллия, ты бы взбунтовалась.

Павлова: Почему?

Яковлев: Потому что женщиной ты можешь быть только в балете. Это плата за гениальность.

Павлова: Помню, еще в Мариинке я репетировала "Дочь Фараона", страшно сказать, двадцать лет назад. Петипа пришел

на репетицию. Он тогда редко появлялся. Смотрел, улыбался, потом вдруг погрузился, встал и направился к выходу. Я за ним: "Маэстро, я что-нибудь неладное сделала?" Старик обнял меня, поцеловал и с чувством сказал по-французски: "Как вы должны быть одиноки, моя девочка, чтобы так танцевать!"

Раннее зимнее утро 11 января 1931 года. Поезд Канны-Париж. Павлова спит. Даже во сне у нее усталое, измученное лицо, немного жестокое, как на известном портрете Сорина, который она не любила. Сентиментальное путешествие в домик на Рю де Капюсин далось ей, очевидно, нелегко. За окном мелькают пейзажи центральной Франции. Внезапно раздается страшный грохот, с полком летят чемоданы и сумки. Павлова падает на пол, больно ударяясь о край столика у окна. Слышен пронзительный лязг тормозов, грохот падающих тяжелых предметов, людские вопли. Павлова встает, набрасывает на ночную рубашку меховую шубку, выходит в коридор. Там — невообразимая кутерьма. Полураздетые люди выскакивают из купе и опроретью летят к выходу.

— Что случилось? — растерянно спрашивает Павлова.

Господин в полосатой пижаме бросает на ходу:

— Неужели не видите? Крушение поезда!

На маленьком полустанке воют сирены санитарных машин, люди мечутся вдоль насыпи, волоча тяжелые чемоданы. Передние вагоны сильно искарежены, санитары выносят раненых. Павлова подходит к паровозу: его передняя часть сплюснута, подножка залита кровью. Павлова в ужасе отворачивается. До нее доносятся обрывки разговора двух машинистов:

— Не знаю, откуда взялся этот товарняк. Слава Богу, шел не с полным составом. Врезался на ходу. Бедного Поля здорово шарахнуло, не знаю, выживет ли.

Внутри здания маленькой станции толпа осаждает телефоны. Господин в полосатой пижаме причитает в трубку:

— О, ты не представляешь себе, дорогая! Мы все чуть не погибли! Столько жертв, паровоз всмятку, просто чудо нас спасло!

Когда, наконец, подходит ее очередь, Павлова набирает номер:

— Виктор, я тебя разбудила? Ты не поверишь, но я попала в настоящую железнодорожную катастрофу... По дороге в Париж... Как зачем? Мне же надо репетировать... Ну, конечно, невредима, если я с тобой разговариваю. Надеюсь добраться до Парижа, позвоню тебе оттуда. Да перестань ты причитать, как старая баба, до свидания!

Поезд опять на ходу. Павлова стоит у окна в коридоре. Из соседнего купе выходит дама.

Дама: Доброе утро, мадам. Хорошенькое приключение мы пережили! Представляете себе, ведь мы могли отправиться к праотцам!

Павлова: Вы что, боитесь смерти?

Дама (изумленно): А вы нет?

Павлова: Я много бывала в Индии. Там люди улыбаются на похоронах, радуются, что их ближний перешел в лучший мир, отрешился от плоти. Съездите в Индию, она вас излечит от страха смерти.

Дама (обиженно поджав губы): Зачем мне Индия, освобождение от плоти и какой-то высший мир?! Я туда не спешу, мне и здесь хорошо.

Северный вокзал в Париже. Павлова идет к поезду Париж-Гаага. Расплатившись с носильщиком, она устраивается в двухместном купе. До отхода поезда еще остается время. Павлова рассеянно смотрит в окно. На перроне высокий лысеющий господин с портативным мольбертом на плече прощается с дамой. У него совершенно определенное сходство с Яковлевым. Господин и дама залиристо хохочут, целуются, но как-то приторно, слишком напоказ. Павлова почти с отвращением отводит свой взгляд.

...Уборная Павловой в театре Монте-Карло. Только что кончилось выступление. Она в костюме "Стрекозы", усталая, в гриме, отчего ее глаза кажутся особенно запавшими, а лицо старым. Дандре держит в руках букет красных роз. Закрывая дверь, он говорит осаждающей уборную толпе:

— Погодите, господа, дайте мадам перевести дух! Не будьте нетерпеливы!

Павлова усаживается перед зеркалом, начинает снимать грим. Равнодушно бросает:

— Виктор, посмотрите, от кого цветы.

Дандре открывает конверт, медлит и вопросительно смотрит на Павлову.

— Я жду, — в голосе Павловой слышится нетерпение.

Дандре протягивает конверт. Павлова читает записку: "Хотя бы перед отъездом попрощаться. Александр" и кладет конверт на столик. На мгновение глаза Павловой и Дандре встречаются; Павлова смотрит строго, почти с вызовом. Потом выпрямляется и тихо говорит:

— Виктор, я очень люблю этого человека.

Дандре (глухо и спокойно): Я знаю... Ваше решение вы мне скажете позже. Надеюсь, у вас достанет благоразумия...

Павлова: Если вы мне действительно друг, постарайтесь огрადить меня сегодня вечером от этого человека.

Дандре: Хорошо.

Павлова: А сейчас оставьте меня одну. Скажите визитерам, что мне нездоровится, и я никого не принимаю. Лимузин пришлите к парадному подъезду. Предупредите служащих, чтобы не запирали двери.

Элегантная толпа перед уборной Павловой. Дандре выходит к ней в тот момент, когда позади толпы вырастает стройная фигура Яковлева во фраке с гарденией в петлице. Рассыпаясь в извинениях, он протискивается вперед и оказывается лицом к лицу с Дандре.

— Простите, сударь, — говорит ему Дандре, — госпожа Павлова нездорова и никого не велела принимать.

Оба с вызовом смотрят друг на друга. Яковлев мучительно что-то обдумывает, потом резким движением отстраняет Дандре и входит в уборную.

Павлова все так же устало сидит перед гримировальным столиком. Подняв глаза, она видит в зеркале вошедшего Яковлева. Не говоря ни слова, он обнимает ее за плечи и целует в шею. Павлова прижимается щекой к его руке, просительно, почти затравленно на него смотрит. Заметив, что Яковлев собирается пуститься в объяснения, она просит:

— Только ничего не говори. Я уже все знаю. Это решено?

Яковлев (твердо): Да.

Павлова: Но зачем это? Это так опасно, это равносильно самоубийству. Все, кто ездил в этот район Тибета, потом погибали от страшных, загадочных болезней. Неужели тебе не жалко меня? Себя, наконец?

Яковлев: Ты же меня знаешь. Так надо.

Павлова (яростно): Ты — саморазрушитель.

Яковлев: Конечно, иначе я не был бы художником.

Павлова (вскакивает и начинает метаться по комнате): Господи, опять эти философские объяснения! У тебя всему есть оправдание. Но чем ты оправдаешь мою боль, то, что сердце у меня сейчас разорвется на куски?... Прости, я сама ненавижу мелодраму. Что я должна сделать, чтобы тебя отговорить? *(Плачет).* Саша, Саша... что я должна делать?

В дверь просовывается голова встревоженного Дандре. Павлова яростно швыряет в него балетными туфлями.

Павлова: Вон! Я не желаю свидетелей моих слез!

Наконец она берет себя в руки и опускается в кресло.

Яковлев: Аннушка, не надо мучить себя и меня.

Павлова: Когда ты уезжаешь?

Яковлев: Послезавтра. После африканского черного путешествия теперь будет желтое — ты не находишь это символичным?

Павлова: Я нахожу это очень печальным.

Яковлев: Я бы хотел сегодня с тобой поужинать.

Павлова: Хорошо. Жди меня в машине у артистического выхода.

Яковлев целует ее и уже собирается выйти из уборной. Павлова его останавливает:

— Саша, я совсем забыла в этой сумятице. — Протягивает ему портативный мольберт. — Это тебе на память, пригодится в твоих скитаниях.

Яковлев: Благодарю. Так я жду тебя в машине.

Павлова грустным взглядом провожает его стройную поджарую фигуру, исчезающую в дверях. Потом строго и повелительно обращается к горничной:

— Собери вещи и иди к лимузину через сцену... Он стоит перед главным подъездом. И постарайся это сделать незаметно.

Яковлев ждет в своем автомобиле. Толпа поклонников с цветами осаждает боковой подъезд, выходящий в проулок. По главной улице мимо яковлевской машины проезжает лимузин. Яковлев его не замечает, он сидит, нервно поглядывая на часы. Рядом на сиденьи — подаренный Павловой портативный мольберт. Павлова смотрит в его сторону долгим взглядом, словно посылая ему прощальный привет.

Опять купе поезда, идущего в Гаагу. Павлова рассеянно смотрит в окно на убегающие парижские предместья. Понемногу она впадает в дрему, которая сменяется тревожным сном...

Выпускной бал в Императорском Балетном училище. Гремит вальс. Выпускники в белых платьях с кружевными воротниками под строгими взорами классных дам кружатся с кавалерами. Среди кавалеров — молодые, сияющие лица Фокина, Дандре, Мордкина. Нюра Павлова стыдливо жметя к колонне. Она одна-единственная без кавалера, и ей стыдно. Классные дамы качают головами:

- Она не умеет танцевать!
- Никогда не умела!
- Она просто бездарь!
- Вот она вам, хваленая знаменитость!

Павлова слышит эти осуждающие фразы. В отчаянии бросается то к Дандре, то к Мордкину, то к Фокину — те от нее отворачиваются. Вальс гремит все сильнее, набирая темп. Тогда Нюра начинает танцевать одна. Толпа, посмеиваясь, расступается, и скоро она одна кружится в центре громадного белоколонного зала под гигантской хрустальной люстрой. Вальс ей не дается, она никак не может попасть в ритм, совсем, как ее Жизель в сцене сумасшествия. По ее лицу опять пробегает гримаса боли, но не театральная, а подлинная, как при исполнении "Умирающего Лебедя" в Мехико. Нюра хватается за колено, которое начинает нестерпимо болеть, потом за живот. Окружающие покатываются от хохота. Сгорая от стыда, Нюра, ковыляя, бежит к выходу. Двери распахиваются, на пороге вырастает фигура Александра Яковлева с портативным мольбертом в руках. Он смотрит на нее испытующе и сурово. Павлова бросается к нему:

— Саша, наконец-то! Как вовремя! Только один вальс, прошу тебя!

Но Яковлев стоит неподвижно. И спрашивает недоуменно и строго:

— Какой вальс, Анна? Он вряд ли уместен на твоих похоронах. Разве ты не видишь, что происходит?

Павлова с ужасом пятится от него. Она вдруг замечает, что Яковлев одет в черный костюм могильщика. В смятении оборачивается. Зала пуста, порывы сквозняка играют затоптанным серпантином и раздавленными цветами, гаснет огромная люстра, окна затянуты черным крепом. Из глубины зала навстречу ей идет бабушка с мертвой стрекозой в руках, злорадно скалитесь вихрастый мальчишка за ее спиной. Бабушка останавливается посередине залы, участливо смотрит на Павлову:

— Видишь, внученька, Бог дал, Бог взял. Резвость даром не дается.

Павлова с криком просыпается. У нее жар, лоб в испарине, губы пересохли. Проводник, услышавший ее крик, стучит в дверь купе:

— Мадам, что с вами?

Проводник — высокий, осанистый мужчина с черными усами врзлет, тип веселого гасконца.

— Принесите мне чашку чая, пожалуйста, — просит Павлова.
— У меня адская головная боль.

Проводник приносит чай. Павлова достает таблетки и судорожно выпивает чай, потом с облегчением откидывается на диване. Проводник с тревогой и нескрываемым любопытством рассматривает ее, стоя в проеме двери:

— Простите, мадам, ваше лицо мне знакомо. Вы не мадам Анна Павлова?

Павлова отвечает:

— Нет, мсье, я никакого отношения к балету не имею. Вы ошиблись.

Бросив понимающий взгляд на картонку с балетными туфлями, проводник удаляется, говоря на прощанье: "Если я вам понадоблюсь, мадам, нажмите вот эту кнопку". Павлова ложится на диван. "Ты, кажется, и вправду заболела, дорогая, — говорит

она самой себе. — Допрыгалась, довертелась. Может, сон был в руку? Вздор, вздор! Я не сдамся так просто”.

Ее сотрясают приступы кашля, она то и дело вытирает лоб. За окном проносятся аккуратные голландские домики, крытые красной черепицей, зеленеющие газоны. Небо не по-зимнему синее.

”Как: это уродливо, зелень и синева. Уродливо? Бабушка не зря говорила, что когда человека раздражает зелень на фоне синего неба, значит, он свое отжил. Значит, пора...”

За дверью слышен голос проводника:

— Господа, через три минуты поезд прибывает в Гаагу.

Павлова с трудом выходит в коридор. На перроне она видит свою горничную Маргерит. Та ей машет рукой. Павлова слабо улыбается. К ней устремляется проводник:

— Мадам Павлова, позвольте вам помочь.

Опираясь на его руку, Павлова выходит из вагона и падает без чувств на руки подросшей Маргерит.

Маргерит на цыпочках входит в спальню. Павлова в постели, ее лихорадит. У изголовья кровати на столе букет белых хризантем, ее любимых цветов. Висят на плечиках распяленные пачки.

В гостиной за столом сидят Виктор Дандре и парижский доктор Павловой, господин Залевский.

Доктор: Положение нешуточное. Вчера воспалительный процесс был в левом легком, сегодня он перекинулся на правое. Я прописал инъекции серы, но теперь надо удалять из легких накопившуюся жидкость. Дыхание становится все стесненнее... Но больше всего меня беспокоит сердце мадам. Оно явно слабеет. Температура не снижается.

Раздается стук в дверь. Маргерит открывает, берет из чьих-то рук букеты цветов:

— Спасибо, не волнуйтесь. Мадам спит. Передам непременно. Думаю, что скоро поправится.

Закрывает дверь и с букетами в руке растерянно замирает на месте в каком-то оцепенении, из которого ее выводит голос Дандре:

— Кто это был?

— Танцовщики из труппы... Беспокоятся.

Из спальни доносится отчаянный кашель. Маргерит бросается в спальню. Доктор Залевский откланивается:

— Мне пора в Париж. А вы сообщите мне о решении мадам.

Дандре кивает и провожает его до дверей. Потом проходит в спальню. Берет влажную руку Павловой и прижимает к губам:

— Анна... Анна... Как вы себя чувствуете?

Та не отвечает, лишь переводит взгляд на стену, где в тяжелой золоченой раме висит аляповатая репродукция "Танцовщиц" Дега, специально повешенная здесь директором отеля в знак своего восхищения перед Павловой.

Дандре: Анна, доктор считает, что...

Павлова: ... я скоро преставлюсь.

Дандре: О чем вы говорите? Вы поправитесь непременно, только...

Павлова: Только что? Да говорите, Виктор, не виляйте.

Дандре: Если вы решитесь на операцию. Срочно необходима резекция двух ребер, чтобы откачать легочную жидкость.

Павлова (после паузы): Я согласна. Только скорее. Я просто схожу с ума из-за этой проволоочки с гастролями. А когда можно будет танцевать после операции?

Дандре в замешательстве молчит. Павлова вперяет в него взгляд своих темных глаз, которые кажутся огромными на ее осунувшемся лице с резко выступающими скулами.

Павлова: Понимаю. Я могу потерять баланс. Может быть, вообще придется забыть о танцах... Да отвечайте же, черт возьми!

Она рывком приподнимается на кровати. Дандре умоляюще смотрит на Павлову.

Павлова: Тогда забудьте об операции.

Дандре: Анна, будьте благоразумны. Это для вас вопрос жизни и смерти.

Павлова иронически улыбается и беспомощно откидывается на подушки.

Павлова: Жизни и смерти... Какая это жизнь без балета! Балет — единственное, что у меня всегда было и есть... Нельзя отнимать у нищего последний грош.

Дандре: Анна, я умоляю вас...

Павлова (устало): Оставьте, Виктор. Я всегда знала, что на свете не существует ничего, кроме страдания и смерти... Я очень устала.

Часы бьют полночь. Маргерит сидит у постели в выжидательной позе. Павлова тяжело дышит. Внезапно она широко открывает глаза и с трудом поднимает руку, словно желая осенить себя крестным знамением. Маргерит склоняется над ней и тихо спрашивает:

— Вам что-нибудь угодно, мадам?

Павлова шепчет: "Приготовьте мне костюм Лебеда".

Лондон. Аполло Театр. Воскресенье, 25 января 1931 г. Представление "Камарго Сосайети". Танцовщики в костюмах Цефала и Прокриды из одноименного балета Нанетт де Валуа раскланиваются перед занавесом. Публика ждет второго номера программы. Дирижер Констан Ламберт оборачивается к публике и объявляет: "Смерть Лебеда". Занавес ползет вверх, обнажая пустую темную сцену с серыми сукнами. Луч прожектора ищет танцовщицу, которой на сцене нет.